

Николай Добролюбов

**Первые годы царствования
Петра Великого**



Николай Александрович Добролюбов

Первые годы царствования Петра Великого

Суждения Добролюбова о Петре I и его реформах polemически направлены против точек зрения, развивавшихся в официальной, славянофильской и либерально-буржуазной исторической науке. Добролюбов доказывал, что петровские преобразования были подготовлены всем ходом предшествующего развития России, что сами эти преобразования были исторической необходимостью, продиктованы интересами народа и государства и поэтому исторически прогрессивны.

Содержание

Статья первая	0005
Статья вторая	0077
Статья третья и последняя	0166
Примечания	0309

**Николай Александрович
Добролюбов
Первые годы царствования
Петра Великого**

*(История царствования Петра Велико-
го. Н. Устрялов. СПб., 1858, три тома)*

*Петр действовал совершенно в духе на-
родном, сближая свое отечество с Ев-
ропою и искореняя то, что внесли в
него татары временно азиатского.
(«Отечественные записки», 1841, Кри-
тика){1}*

Статья первая

Мы спешим представить нашим читателям отчет о сочинении г. Устрялова, хотя очень хорошо сознаем, что полная и основательная оценка подобного сочинения потребовала бы весьма продолжительного труда даже от ученого, специально изучавшего петровскую эпоху. По всей вероятности, с течением времени и будут являться разные дополнения или пояснения к труду г. Устрялова со стороны наших ученых специалистов, дружными усилиями своими так усерднодвигающих вперед русскую науку. Мы же, с своей стороны, вовсе не имеем в виду специальных указаний на какие-либо частные и мелкие подробности, недосказанные или не совершенно выясненные в истории Петра Великого. Мы хотим просто, воспользовавшись материалом, собранным в сочинении г. Устрялова, передать читателям главнейшие результаты, добытые трудами почтенного историка. На это, думаем мы, дает нам право самый характер и значение сочинения г. Устрялова, которое так давно уже было ожидаемо

русской публикой.

История Петра, начало которой издано ныне г. Устряловым, бесспорно принадлежит к числу сочинений ученых, сообщающих новые данные, говорящих новое слово о своем предмете. Обыкновенно у нас такие сочинения не подлежат не только общему суду, но даже и просто чтению. Читатели если и принимают за них, то никак не доходят далее второй страницы. Ученые авторы обвиняют за это читателей в равнодушии и пренебрежении к науке, и ученые авторы, вероятно, правы, с своей ученой точки зрения. Но не совсем неправа и публика, с точки зрения просто образованной. Нет сомнения, что образованному человеку полезно знать, например, в 855 или в 857 году изобретена славянская азбука; полезно иметь сведение о том, читал ли Кирилл Туровский Библию и были ли в древней Руси люди, знавшие по-испански; полезно знать и то, как следует перевести сомнительный аорист в Фукидидовой истории; — все это очень полезно... Но отсюда все-таки никак не следует, чтобы образованному человеку необходимо было читать толстые книги

для разрешения важных и занимательных вопросов, подобных тем, которые мы сейчас придумали для примера. Следовательно, нечего удивляться, нечего и винить публику в невежестве, если она не читает ни сочинений, имеющих специальную цель – движение науки вперед, ни ученых разборов, имеющих в виду ту же высокую цель. Потомство будет, конечно, справедливее, но большинство наших современников, к сожалению, совершенно равнодушно к замечательным успехам наших ученых. Оно как будто не замечает их и, кажется, ждет применения микроскопа к рассматриванию богатых вкладов русских ученых в общую сокровищницу науки.

При таком положении дел весьма естественно образовалось между публикою и писателями безмолвное соглашение такого рода. Если является книга, трактующая об ученых предметах, то уже публика и понимает, что это, верно, написано – во-первых, для движения науки вперед, а во-вторых – для такого-то и такого-то специалиста (они всегда известны наперечет). Специалисты, в свою оче-

редь, знают, что это для них писано, и принимают за ученую критику, назначая ее для автора книги и для двух-трех своих собратий, из которых один сочинит, пожалуй, и замечания на критику. Разумеется, специалисты, споря о том, в XI или в XII веке жил монах Иаков, представляют дело в таком виде, как будто бы от него зависела развязка индийского восстания,{2} вопрос аболиционистов{3} или отращение кометы, которая снова, кажется, намерена угрожать Земле в этом году. Но публика не воображает, что дело так важно, и спор о разных тонкостях слога, хотя бы в самой летописи Нестора, – не производит переворота в общественных интересах. Наука остается сама для себя, и ученые гордятся своими открытиями только в кругу ученых, оплакивая невежество публики, не умеющей ценить их.

Но оказывается, что публика знает несколько толк в ученых делах и даже отличается в этом отношении редким тактом. Она не знает ученых, разбирающих ханские ярлыки{4} и сравнивающих разные списки сказания о Мамаевом побоище;{5} но она всегда с

живым участием приветствует писателей, оказывающих действительные услуги науке. Сколько можем мы припомнить прежние отзывы, г. Устрялов не считался у нас в числе записных ученых. Все отдавали справедливость его тщательности в издании памятников, красноречию и плавности слога в его учебниках, ловкости рассказа о событиях новой русской истории;{6} но отзывы о нем, сколько мы знаем, вовсе не были таковы, как отзывы о разных наших ученых,двигающих науку вперед. А между тем у нас причисляется в ученые всякий господин, открывший хоть маленький, хоть крошечный какой-нибудь фактец, хоть просто ошибочно поставленный год в древнем списке летописи. Это, говорят, ученый, потому что он изучает, и весьма основательно, исторические источники и делает новые соображения, до него неизвестные. По этой мерке г. Устрялов должен стать теперь на недостижимую высоту учености, потому что им открыты или объяснены не два-три ничтожные факта, а сотни подробностей, бросающих действительно новый свет на прежде известные исторические явле-

ния. И, несмотря на то, публика не отвернулась от труда г. Устрялова потому именно, что это есть в самом деле важный ученый труд. Успех книги г. Устрялова доказывает, что публика наша умеет отличить массу, – хотя бы и очень тяжелую, – свежих, живых сведений от столь же тяжелой массы ненужных цитат и схоластических тонкостей.

Эта уверенность в том, что новое сочинение г. Устрялова имеет интерес не только специально ученый, но и общественный, дает нам смелость говорить о нем, хотя мы и не можем сделать никаких поправок и дополнений к труду г. Устрялова.

Материал, бывший под руками у г. Устрялова при составлении истории Петра Великого, был очень богат. Ни один из предшествовавших историков Петра не пользовался, конечно, таким обилием источников. Из «Введения» (стр. LXXVII) мы узнаем, что в конце 1842 года автору открыт был доступ во все архивы империи, а в 1845 году дозволено отправиться за границу для обозрения архивов в Вене и Париже. Нечего и говорить о печатных источниках, которыми располагал г. Устрялов и ко-

торых количество также значительно. Г-н Устрялов не только воспользовался всеми документами, изданными Миллером, Голицыным, Берхом{7} и др., но даже *сверил* большую часть их с подлинниками, хранящимися в разных архивах и библиотеках, причем открыл немало ошибок и искажений в печатных изданиях. Кроме того, он рассмотрел еще много таких материалов, которыми до него никто не пользовался. Так, им пересмотрены: *кабинетные бумаги* Петра Великого в государственном архиве, заключающиеся в двух отделениях, – одно из шестидесяти семи, а другое из девяноста пяти фолиантов. В первом из этих отделений находятся 1) материалы для истории Петра Великого, собранные при жизни его: выписки из подлинного дела о стрелецком бунте 1698 года, дело о мятеже башкирском в 1708 году, документы о бунте булавинском; ведомости о числе войск и орудий в разное время, о каналах, заводах, фабриках и пр., о действиях в шведскую войну; журналы походов и путешествий Петра Великого и пр.; кроме того – 2) собственноручные черновые бумаги Петра, – его ученические

тетради, проекты законов, указов, рескриптов, счета, письма и пр. Во втором отделении собраны так называемые входящие бумаги, то есть «все, что адресовано было на имя Петра, по всем частям управления, от всех лиц, которые его окружали или решались к нему писать, от Меншикова и Шереметева до последнего истопника». Г-н Устрялов справедливо замечает, что эти письма могут отчасти заменить недостаток современных мемуаров сподвижников Петровых.

Кроме того, г. Устряловым пересмотрены *дела дипломатические* в Главном архиве в Москве; *дела розыскные и следственные*, как-то: дело о Шакловитом, дело о последнем стрелецком бунте 1698 года, дело о царевиче Алексее Петровиче и пр.; *официальные донесения иностранных послов и резидентов*, собранные в Париже и Вене. Из всех этих донесений всего более замечательны донесения цесарского резидента Отто Плейера, бывшего в России от 1692 года до 1718. Во все это время он, по крайней мере раз в месяц, уведомлял самого цесаря о всем, что замечал он в Москве и Петербурге. Наблюдения его, по от-

зыву г. Устрялова, чрезвычайно добросовестны и отчетливы. Кроме того, г. Устрялов пользовался подлинными записками Патрика Гордона и Галларта, из которых только отрывки были прежде напечатаны, и то весьма в уродливом виде.[1] Имея под руками такую массу источников, столь важных и разнообразных, г. Устрялов действительно мог довести свою историю до того, чтобы в ней, как сам он говорит («Введение», стр. LXXXIII), «ни одного слова не было сказано наугад, чтобы каждое из них подтверждалось свидетельством неоспоримым, по крайней мере вероятным».

Труд г. Устрялова тем замечательнее, что у своих предшественников-историков он весьма мало мог находить пособия в своем деле. Во «Введении» он перечисляет всех почемуму-либо замечательных писателей, составлявших историю Петра, и ни у кого не находит удовлетворительного изложения. В том числе г. Устрялов перечисляет и такие произведения, которые весьма мало известны или совсем неизвестны публике. Так, во «Введении» сообщаются любопытные подробности о том, как после слабых трудов Феофана Проко-

повича и барона Гизена{8} составлял историю кабинет-секретарь Макаров, которого поправлял и переделывал сам Петр. Макарову поручено было собрание материалов и черновая работа. Года в четыре он составил историю о войне шведской и представил Петру; Петр исправил ее, велел переписать и снова представить ему. Эта вторая редакция также была представлена ему и переделана им; то же было с третьей и четвертой редакцией. Немногие места работы Макарова уцелели, по словам г. Устрялова, так что на это сочинение можно смотреть как на труд самого Петра. Сочинение это было издано кн. Щербатовым под заглавием: «Журнал, или поденная записка Петра Великого, с 1698 года даже до заключения Нейштадтского мира». Но это издание прошло совершенно незамеченным, потому что Щербатов глухо только сказал в предисловии, что «журнал этот сочинен при кабинете государя и правлен его собственною рукою». Никто не знал, какое именно участие принимал Петр в составлении этой истории, и потому на нее смотрели большею частью с недоверчивостью. А между тем труд Петра, по

словам г. Устрялова, отличается строгой исторической истиной и беспристрастием. Г-н Устрялов убедился в этом, имев случай поверить все его слова подлинными актами, доселе во множестве сохранившимися, и свидетельством очевидцев, своих и чужеземных. «Во всех случаях Петр с благородною откровенностью говорит о своих неудачах, не скрывая ни огромности потерь, ни важности ошибок, и в то же время с редкою скромностью говорит о своих личных подвигах» (стр. XXXVII). Эта черта должна бы послужить уроком для многих историков, смешивающих историю с панегириком и цветами исторического красноречия заменяющих историческую истину.

К сожалению, последующие историки Петра не следовали, в изображении его деяний, собственному его примеру, – одни по излишнему легковерию, другие по желанию изукрасить простую истину событий. К числу первых принадлежит Голиков и многие из иностранных историков Петра; в числе последних замечателен Крекшин,^{9} которого наши ученые принимали, даже до наших дней, – за достоверный источник и авторитет,^[2] но ко-

того г. Устрялов, вслед за Татищевым,^{10} справедливо именуется *баснословцем*. Причину всех своих баснословных выдумок Крекшин очень наивно высказывает в предисловии, из которого г. Устрялов приводит следующие слова: «Аз, раб того благочестивого императора, мний всех, милость того на себе имех и дел блаженных его неких самовидец бых; *того ради, по долгу рабства и любви, должен блаженные дела его прославлять, а не образом истории писать дерзаю.* Не буди то в дерзновение моему художеству, яко недостоин отрешити и ремень сапога его». После такого признания, действительно, трудно доверять Крекшину. Собственно говоря, нельзя строго винить его: мысль его не заключает в себе ничего необыкновенного. Все мы немножко Крекшины в своих научных воззрениях, то есть все основываем нередко общие положения на своих личных понятиях и даже предубеждениях. Русские историки, доселе бывшие, не составляют исключения из этого общего правила. Нередко они приступают к исследованию исторической истины с заранее уже составленным убеждением. Они гово-

рят себе: «должно оказаться то-то», и действительно оказывается то-то. Давно ли мы в своих учебниках твердили, – а подрастающее поколение и теперь еще твердит, – фразы вроде следующей: «История всемирная *должна* говорить о Петре как об исполине среди всех мужей, признанных ею великими; история русская *должна* вписать имя Петра в свои скрижали с благоговением». А что говорится обыкновенно историками о важных лицах, которых история пишется еще при их жизни, – об этом и упоминать нечего.^{11} Но, несмотря на свое внутреннее сходство с Крекшиным, многие историки имеют настолько такта (пожалуй, назовите это хитростью или как-нибудь иначе), чтобы не объявлять о своих задних мыслях во всеобщее сведение. Оттого на них и смотришь как-то доверчивее, чем на Крекшина, который так неловко, в самом начале своей истории, отказывается от всякого права на доверие читателей к истине его повествования. Нельзя не порадоваться, что прошло уже у нас время таких признаний в исторических трудах. Признаемся, мы с удовольствием думали, как далеко ушла в одно

столетие наша историческая наука, – сравнивая с забавной наивностью «новгородского баснословца» – твердый и уверенный голос современного историка, способный возбудить к нему полное доверие. Вот что говорит г. Устрялов в конце своего «Введения» (стр. LXXXVIII):

Не смею и думать, чтобы мне удалось написать историю Петра, достойную его имени; но вправе считаю себя сказать, что я вполне понимал всю святость добровольно принятой на себя обязанности быть его историком. Он, неумолимо строгий к себе и к другим в деле истины, служил мне руководителем. Самое тщательное изучение фактов при помощи архивов, разборчивая проверка современных сказаний, нелицеприятное беспристрастие, добросовестное изложение всех подробностей исторических, какие только встречались мне не в выдумках компиляторов, а в материалах достоверных, – вот мои правила непреложные! Могут найти в моем сочинении недосмотры, неосновательные выводы, недостатки искусства, плана, слога – все, что угод-

но; но в безотчетной доверчивости к современным сказаниям, не исключая самого Петра, тем менее в умышленном искажении истины не упрекнет меня никто.

Так сам г. Устрялов определяет нам характер и значение своего труда, и мы не можем не признать справедливости этого определения. У своих предшественников историков он нашел, как мы уже сказали, весьма мало, почти ничего. Ему предстояло самому все поверять, сводить, соображать, распределять, чтобы создать потом из всего этого стройный, живой рассказ. Мы не скажем ничего преувеличенного, если заметим здесь, что для истории Петра I, Устрялов сделал то же самое, что Карамзин для нашей древней истории. Само собою разумеется, что г. Устрялов нашел для своего труда все-таки гораздо более предшествовавшей подготовки, чем Карамзин. Но зато, вследствие этого обстоятельства, равно как и вследствие большего обилия средств и большей ограниченности самого предмета, труд г. Устрялова относительно полнее, нежели произведение историографа. В существен-

ных же чертах оба они имеют большое сходство между собою. В том и другом на первом плане является собрание и проверка материалов, которые, собственно, и дают обоим произведениям право на ученое значение. Читателей – и та и другая история привлекают к себе красноречием, плавностью слога, искусством рассказа, живостью картин и описаний. В историко-литературном отношении тоже сходство: Карамзин явился с своей историей после неудачных попыток Елагина, Эмина, Богдановича и пр.; г. Устрялов является после неудовлетворительных историй Петра, начинающихся с Крекшина, которого по цели его и по богатству вымыслов можно сравнить с Елагиным, – после Вольтера, Сегюра, Полевого... Карамзин имел пред собою добросовестный свод летописей – Татищева и довольно смышленную историю Щербатова; {12} г. Устрялов тоже имел верный свод событий в истории Макарова, исправленной самим Петром, и нашел некоторое пособие в хронологическом сборе фактов, находящемся в «Деяниях» Голикова. Даже по самым внешним приемам, по расположению статей, примечаний и при-

ложений, по манере изображения частных событий, – ни одна из исторических книг не напоминала нам так живо Карамзина, как «История Петра» г. Устрялова. Этот труд его достойно станет возле творения Карамзина, полный неоспоримых достоинств, хотя, конечно, не чуждый и некоторых недостатков.

Слишком долго было бы распространяться об общих требованиях, которые налагает на историка современное состояние исторических знаний и вообще просвещения. Место этим рассуждениям скорее в учебнике, нежели в журнальной статье. Но мы не можем не вспомнить здесь одного условия, соблюдение которого необходимо для истории, имеющей притязание на серьезное ученое значение. Это – идея об отношении исторических событий к характеру, положению и степени развития народа. Всякое историческое изложение, не одушевленное этой идеей, будет сбором случайных фактов, может быть и связанных между собою, но оторванных от всего окружающего, от всего прошедшего и будущего. Таким образом, история самая живая и красноречивая будет все-таки не более как прекрас-

но сгруппированным материалом, если в основание ее не будет положена мысль об участии в событиях самого народа. Участие это может быть деятельное или страдательное, положительное или отрицательное, – но, во всяком случае, оно не должно быть забыто историею. На него историк должен обращать главным образом свое внимание не только в общей истории, служащей изображением судьбы царств и народов, – но и в истории частных исторических деятелей, как бы ни казались они выше своего века и народа. Без сомнения, великие исторические преобразователи имеют большое влияние на развитие и ход исторических событий в свое время и в своем народе; но не нужно забывать, что прежде, чем начнется их влияние, сами они находятся под влиянием понятий и нравов того времени и того общества, на которое потом начинают они действовать силою своего гения. В истории Петра, может быть, резче, нежели где-нибудь, высказалось как будто полное отрешение от прошедшего, полный и быстрый переворот волею одного человека, вопреки привычкам и инстинктам народ-

ным. Участие всего народа как будто стирается здесь пред могуществом его повелителя, и потому здесь понятнее, чем где-либо, допущение *исторической случайности* со стороны описателя деяний Петровых. Тем не менее нужно сказать, что и здесь допущение этой случайности будет несправедливо. Если автор не намерен входить в рассмотрение народной жизни, рассказывая дела своего героя; если он хочет представить исторического деятеля одного на первом плане, а все остальное считает только принадлежностями второстепенными, аксессуарами, существенно не нужными; в таком случае он может составить хорошую биографию своего героя, но никак не историю. История занимается людьми, даже и великими, только потому, что они имели важное значение для народа или для человечества. Следовательно, главная задача истории великого человека состоит в том, чтобы показать, как умел он воспользоваться теми средствами, какие представлялись ему в его время; как выразились в нем те элементы живого развития, какие мог он найти в своем народе. Смотреть иначе значило бы прида-

вать гению значение, невозможное для человека. Известно всем и каждому, что человек не творит ничего нового, а только перерабатывает существующее, значит, история приписывает человеку невозможное, как скоро намеренно уклоняется от своей прямой задачи: рассмотреть деятельность исторического лица как результат взаимного отношения между ним и тем живым материалом (если можно так выразиться о народе), который подвергался его влиянию. Невыполнение этой задачи не заменяется никаким красноречием, никаким обилием фактов, относящихся к изображаемому лицу. Значение великих исторических деятелей можно уподобить значению дождя, который благотворно освежает землю, но который, однако, составляется все-таки из испарений, поднимающихся с той же земли. Простолюдину простительно думать, что дождь хранится в небе в каком-то особом резервуаре и оттуда изливается в известные времена, по каким-нибудь особенным соображениям; но такое объяснение не должно иметь претензии на значение ученое и философское.

К сожалению, историки никогда почти не избегают странного увлечения личностями, в ущерб исторической необходимости. Вместе с тем сильно выказывается во всех историях пренебрежение к народной жизни, в пользу каких-нибудь исключительных интересов. Так, например, у самого Карамзина мы находим, что вся история народа пожертвована строгому и последовательному проведению одной идеи – об образовании и развитии государства российского. И самое развитие этого государства вовсе не представляется вытекающим из условий народной жизни, а является каким-то, чуть не административным, делом нескольких лиц. Народная жизнь исчезает среди подвигов государственных, войн, междоусобий, личных интересов князей и пр., и только в конце тома помещается иногда глава «о состоянии России». Но и тут больше толкуется о наследственных правах удельных князей, о славе России между иноземными державами и т. п., нежели об интересах, прямо касающихся народа.

Нельзя сказать, чтобы труд г. Устрялова совершенно чужд был той общей исторической

идеи, о которой мы говорили; но все-таки очевидно, что не она положена в основание «Истории Петра». Автор посмотрел на свой труд более с биографической, нежели с общеисторической точки зрения. Оттого из «Истории» его вышла весьма живая картина деяний Петровых, весьма полное собрание фактов, относящихся к лицу Петра и к положению придворных партий, окружавших его во время детства и отрочества, нелицеприятное изложение государственных событий времени Петра; но истинной истории, во всей обширности ее философского и прагматического значения, нельзя видеть в ныне изданных томах «Истории Петра Великого». Правда, что автор еще не дошел до той эпохи, когда Петр является во всем блеске своей преобразовательной деятельности, которою стал он в непосредственные отношения к народу. В первом томе «Истории» г. Устрялова изложено господство царевны Софии, во втором – потешные и Азовские походы, в третьем – путешествия Петра по Европе и разрыв с Швецией. Но и эти события были бы, конечно, изложены иначе, если бы автор не руководствовался

по преимуществу биографическим интересом и мыслью о государственном значении Петра для возвышения славы России, – а захотел бы придать своему труду более широкое значение. Чего искал автор в других историках и чего требовал от самого себя, – можно видеть из двух мест его «Введения». Исчислив историков Петра, он говорит в заключение: «Трудно самому невзыскательному любителю истории удовольствоваться подобными сочинениями о таком государе, как Петр Великий. Еще труднее положиться на них строгому исследователю, который желал бы видеть Петра в истинном, безукрашенном виде, и притом во всей полноте его величия» (стр. LI). В конце же «Введения» (стр. LXXXVII), определяя значение собственного труда, автор говорит: «Я старался изобразить Петра в таком виде, как он был на самом деле, не скрывая его слабостей, не приписывая ему небывалых достоинств, вместе с тем во всей полноте его несомненного величия». Из сравнения обоих мест очевидно, что сам автор смотрит на свое произведение как на труд преимущественно биографический, оставляя в стороне все высшие

философско-исторические соображения.

Мы указываем на это вовсе не с тем, чтобы сделать упрек г. Устрялову, а единственно для того, чтобы определить, чего можно требовать от его истории и с какой точки зрения смотреть на нее, согласно с идеей самого автора. Мы очень хорошо понимаем, что от русского историка, изображающего события новой русской истории, начиная с Петра, невозможно еще требовать ничего более фактической верности и полноты. Мы еще не можем в своих исторических изысканиях отрешиться от интересов этого прошедшего, так близкого к нам и так постоянно, хоть иногда и незаметно, присутствующего в большей части явлений настоящего. Нам трудно, почти невозможно, избрать для какого-либо сочинения правильную и независимую точку зрения на события нашей новейшей истории именно потому, что они и в жизни современного нам общества еще продолжают во многом, еще не составляют прошедшего, совершенно законченного для нас. Поэтому, если бы и могла где-нибудь явиться строго соображенная, прагматическая история новых

времен России, то это было бы не более как утешительным исключением из общей массы наших исторических трудов. Вообще же говоря, автор может давать себе задачу, какую ему угодно, и нельзя нападать на него за то, что он не избрал для разрешения другой, высшей и обширнейшей задачи. Критика указывает, что именно предполагал сделать автор, и затем смотрит уже на то, как выполнение соответствует намерению. Рассуждая таким образом, нельзя не назвать труд г. Устрялова весьма замечательным явлением в нашей литературе, и, вероятно, даже специалисты-ученые, занимающиеся русской историей, не много найдут в «Истории Петра» таких мест, которые можно бы было упрекнуть в неосновательности, в недостоверности или несправедливости. Повторим еще раз: то, что сделано г. Устряловым для истории Петра, по собранию материалов и по обработке их, можно сравнить только с тем, что сделано Карамзиным для нашей древней истории.

Указывая на биографический характер «Истории Петра», мы были бы несправедливы, если бы не остановились на первой главе

«Введения» г. Устрялова, в которой он говорит о старой, допетровской Руси. Эта глава именно показывает, что автор не вовсе чужд общей исторической идеи, о которой мы говорили; но вместе с тем в ней же находится очевидное доказательство того, как трудно современному русскому историку дойти до сущности, до основных начал во многих явлениях нашей новой истории. Автор с самого начала выставляет два противоположные мнения о Петре: одно – общее, выраженное в официальном акте поднесения Петру императорского титула; другое – мнение защитников старой России, которых представителем является Карамзин. Первое выражается в словах акта, что «единым руководством Петра мы из тьмы ничтожества и неведения вступили на театр славы и присоединились к образованным государствам Европы». Сущность второго состоит в том, что и до Петра Россия «в недрах своих заключала обильные источники силы и благоденствия, обнаруживала очевидное стремление к благоустройству и образованию, знакомилась, сближалась с Европою, и хотя медленно, но твердым и верным

шагом подвигалась к той же цели, к которой так насильственно увлек ее Петр Великий, не пощадив ни нравов, ни обычаев, ни основных начал народности» («Введение», стр. XIV).

{13} Приводя оба эти мнения, г. Устрялов пытается решить: что же была Россия до Петра, необходим ли был для нее переворот? – и для этого рассматривает *светлую* и *темную* сторону допетровской России. В том и в другом случае он представляет *факты*, сопровождая их некоторыми общими замечаниями. Но сопоставление этих *светлых* и *темных* фактов далеко не разъясняет нам исторического положения древней Руси и дает много оснований не принимать той точки зрения, которую представляет нам г. Устрялов. Говоря о светлой стороне Руси до Петра, он начинает с того, что издавна все иноземцы удивлялись обширному пространству России, обилию естественных произведений, безграничной преданности всех сословий государю, пышности двора, многочисленности войска; но при этом считали Русь державою нестройною, необразованною и малосильною. «Но чужеземный взор, – замечает г. Устрялов, – не мог заметить

в ней ни зрелого, самобытного развития государственных элементов, ни изумительного согласия их, которое служит основой могущества гражданских обществ и не может быть заменено никакими выгодами естественного положения, даже успехами образованности». Затем автор «Истории Петра Великого» подробно развивает свою мысль, показывая, в какой степени развиты были у нас основные государственные элементы, служащие основой могущества и благоденствия гражданских обществ. Оказывается, что они были развиты как нельзя лучше и что в этом отношении Россия стояла несравненно выше Западной Европы. Мы не станем пока говорить, какие именно элементы понимает г. Устрялов под именем *основных*, и перейдем к *темной* стороне, указанной им же. Рассмотрение этой темной стороны приводит его к заключению, что «нигде положение дел не представляло столь грустной и печальной картины, как в нашем отечестве» (стр. XXII), и что «Россия, невзирая на благотворное развитие основных элементов своих, далеко не достигла той цели, к которой стремились все государства ев-

ропейские и которая состоит в надежной безопасности извне и внутри, в деятельном развитии нравственных, умственных и промышленных сил, в знании, искусстве, в смягчении дикой животной природы, одним словом – в том, что украшает и облагораживает человека» (стр. XXV). Если так, то всякий вправе спросить: что же это значит, что при совершенном и благотворном развитии основных элементов возможно было подобное, крайне печальное, положение дел? «Стародавняя Россия заключала в недрах своих главные начала государственного благоустройства», – говорит г. Устрялов и вслед за тем приводит факты, доказывающие крайнее расстройство. «Россия не уступала ни одному благоустроенному государству в том, что составляет главную пружину благоденствия общественно-го», – говорит он в другом месте и тотчас же, в собственном изложении, доказывает нам «тягостное положение России», бедствия, недовольство, ропот народа и прочее. «В России было зрелое развитие элементов, служащих основой государственного могущества», – утверждает также г. Устрялов в третьем месте

и сам же излагает потом такие факты, после которых не может не воскликнуть: «Можем ли после сего гордиться тогдашним политическим могуществом?» (стр. XXIII). Виною всех этих противоречий – не опрометчивость автора; напротив, он очень осмотрителен в своих суждениях. Всею виною здесь весьма обыкновенное в наших исторических сочинениях смешение двух точек зрения: государственной и собственно народной. Всякому мыслящему человеку понятно, что между этими точками зрения очень много общего и что смешать их вовсе не мудрено. По-видимому, незачем и различать их: государство приобретает новые средства – народ богатеет; государство принуждено выдержать невыгодную войну – весь народ чувствует на себе ее тяжесть; в государстве улучшается законодательство – народу лучше жить становится и т. д. Так бы, конечно, и должно быть, если бы интересы государства и народа всегда были нераздельны и тождественны. Но часто мы видим в истории, что или государственные интересы вовсе не сходятся с интересами народных масс, или между государством и народом

являются посредники – вроде каких-нибудь сатрапов, мытарей и т. п., – не имеющие, конечно, силы унижить величие своего государства, но имеющие возможность разрушить благоденствие народа. Оттого результат воззрения государственного бывает в истории чрезвычайно различен от результата воззрения народного. Первое воззрение включает в себе более отвлеченности и формальности; оно опирается на то, что должно было бы развиться и существовать; оно берет систему, но не хочет знать ее применений, разбирает анатомический скелет государственного устройства, не думая о физиологических отправлениях живого народного организма. Вот почему и *светлая* сторона древней Руси у г. Устрялова так богата общими положениями и не представляет почти ни одного факта, тогда как *темная* состоит исключительно из указаний на факты народной жизни.^{14} Там разбирается у него государственная система, а здесь берется во внимание народная жизнь. Г-н Устрялов не дает преимущества ни той, ни другой стороне предмета и даже, как видно, не совсем ясно различает их. Оттого и вы-

ходят видимые противоречия в его суждениях. Доказывая расстройство народной жизни, он тем самым доказывает несостоятельность и самой государственной системы, тем более что бедственное положение народа имело, по собственному сознанию историка, печальное влияние и на государственную славу России. Словом – *темная* сторона опровергает то, что сказано историком о *светлой*. Чтобы еще более убедиться в этом, рассмотрим в некоторые подробности.

Посмотрим сначала на общий вывод, который делает г. Устрялов из обозрения *светлой* стороны России. Вот его заключение (стр. XXI):

Таким образом, стародавняя Россия заключала в недрах своих главные начала государственного благоустройства: она имела правление крепкое, единоедержавное, заботливо охранявшее неприкосновенность закона; церковь в наилучших отношениях к миру и к верховной власти, определенную в правах и обязанностях своих служителей; дворянство знаменитое, блестящее, не уступавшее никакому другому

доблестью и заслугами; законы, сообразные духу народному, самобытные, освященные опытом, мудростию веков. Единство веры, языка, управления скрепляло все части ее в одно целое, в одну могущественную державу, готовую по первому мановению царя восстать на своих врагов.

Казалось бы, чего же лучше? Сам историк, начертавши эту великолепную картину древней Руси, не мог удержаться от вопросительного восклицания: «Чего же недоставало ей?» Но на деле оказалось совсем не то: древней Руси недоставало того, чтобы государственные элементы сделались в ней народными. {15} Надеемся, что мысль наша пояснится следующим рядом параллельных выписок из книги г. Устрялова, приводимых нами уже без всяких замечаний:

(Стр. XIX.) «Правительственная система наша выражала ясную идею правительства о необходимости закона твердого, неприкосновенного, о водворении доброй нравственности, о возможном облегчении народа, о защите чести его и достояния». – (Стр. XXIV.)

«Пытки составляли необходимую принадлежность розыска по делам уголовным и преступлениям государственным. Столь же ненавистный, столь же бесчеловечный праведж отдавал бедных должников в жертву немилосердных заимодавцев».

«Был у нас свой государственный совет (Большая Дума), составленный из вельмож, убеленных сединами, умудренных опытом: они собирались почти ежедневно в царских палатах, для суждения о делах государственных, и каждый из них мог говорить пред государем свободно и откровенно...» (Стр. XXI.) «Нет никакого сомнения, что Москва обязана своим величием сколько гению своих государей, столько и дальновидной мудрости их советников». – (Стр. XXV.) «Грамота была доступна весьма немногим: еще в исходе XVII столетия не каждый царедворец умел подписать свое имя. Грубое невежество, господствуя в высших и низших слоях общества, разливало тлетворный яд свой на нравы и обычаи, которые представляли странную смесь добрых качеств, свойственных русско-

му народу, с предрассудками, суеверием, даже с отвратительными пороками».

«Под главным надзором приказов состояли исполнители велений правительства, областные воеводы, судьи, сборщики податей, окладчики, дозорщики и другие чины, обязанные действовать согласно с данными им наказами или инструкциями, в которых правительство равно заботилось и о государственных интересах и о выгодах народных». – (Стр. XXIII.) «Областные воеводы, сосредоточивая в лице своем право суда гражданского и уголовного, сбор податей, земскую полицию, наряд войска, с одной стороны не имели возможности выполнить столь разнородные обязанности, с другой же, находили множество случаев в удовлетворению беззаконного корыстолюбия».

(Стр. XX.) «Пред законом были все равны: он не различал вельможи от простолюдина в случае преступления; суд для всех был ровен». – (Стр. XXIII.) «В

подробностях управления господствовало вообще тягостное самовластие и бессовестное лихоимство».

«У нас было дворянство многочисленное и блестящее, которое не уступало в знатности и благородстве происхождения ни одному европейскому». – (Стр. XXIV.) «Кнут не щадил даже знатных дворян». {16}

«Каждый владелец земли, по первому царскому указу, должен был непременно лично явиться на сбор воинский с определенным числом людей ратных; иначе терял свое поместье. В старину русский дворянин не мог сказать, что в его воле служить и не служить: он служил царю и царству до гроба, до последних сил, и своими заслугами облагораживал детей, внуков, правнуков, которые гордились службою предков как доблестью семейною, родовою». – (Стр. XXIV.) «Ратные ополчения наши представляли многочисленную, но нестройную громаду малоопытных помещиков и сельских обывателей, оторванных от плуга и вооруженных

чем попало: обязанные сами заботиться о своем продовольствии во время похода, они равно опустошали и свою и чужую землю или гибли от голода».

(Стр. XXI.) «У нас была своя высшая аристократия, гордая, недоступная, неизменная в своих правилах, которые переходили из рода в род». – (Стр. XXIX.) «Мы коснели в старых понятиях, которые переходили из рода в род, из века в век, мы спесиво и с презрением смотрели на все чужое, иноземное, ненавидели все новое».

Всякий видит, что параллельные выписки, нами сделанные с каких-нибудь десяти страниц «Введения» в «Историю Петра», противоречат друг другу и взаимно друга друга уничтожают. Но странно было бы думать, что автор «Истории Петра» не заметил сам, прежде всех, этих противоречий. Напротив – он, по видимому, с тем и выставлял их, чтобы показать разлад действительного хода дел в древней Руси с тем, что должно бы быть по закону. И вот здесь-то и выказывается вполне

недостаточность в истории исключительно государственной точки зрения, принятой автором. По анатомическому исследованию форм государственного скелета – все, кажется, в порядке, общая система составлена стройно и строго; но в живой народной жизни оказываются такие раны, такие болезни, такой хаос, который ясно показывает, что и в самой сущности организма есть где-то повреждение, препятствующее правильности физиологических отправлений, что и в самой системе недостает каких-то оснований.{17} Что же хорошего, в самом деле, если в отвлеченных созерцаниях все представляется прекрасным, между тем как на самом деле все никуда не годится? Когда невежество и суеверие господствовало во всех слоях общества, как низших, так и высших, – то мало утешения подает существование совета старцев, умудренных и пр. Если самовластие и лихоимство господствовали «в *подробностях управления*», то не много выигрывал народ русский{18} от того, что у нас были «законы, сообразные духу народному, самобытные», и пр. Если дружины русские, составлявшие нестройную громаду,

во время похода умели только грабить и опустошать свою землю наравне с чужой, то, по всей вероятности, не великое добро для земли русской было и от того, что «все части ее были скреплены в одну стройную державу, готовую восстать на врагов по первому мановению», и пр. Готовность еще не значит успешное исполнение, и возможность не всегда превращается в действительность. Равным образом, не большое благо было, конечно, и в дворянстве блестящем, озаменованном «знатностью и благородством происхождения», когда «кнут не щадил даже и знатных дворян».^{19} Из всех этих фактов очевидно одно заключение: что государственная точка зрения не всегда бывает совершенно верна в отношении к фактам народной жизни и потому в истории должна уступить им первое место. Иначе – самые справедливые положения теряют свою силу и получают значение разве только условное и очень непрочное. Чтобы яснее показать это, а вместе с тем, чтобы представить читателям некоторые факты из первых томов «Истории Петра» г. Устрялова, мы намерены сделать в этой статье несколь-

ко кратких указаний на то состояние, в каком находилась Русь пред началом правления Петра.

С государственной точки зрения, более или менее внешней и формальной, положение Руси в это время было блестящее. Так по крайней мере можно заключить из слов наших историков. Например, учебник г. Устрялова (ч. I, стр. 317) выражается об этом таким образом: «Мудрый Алексей оставил своим преемникам государство сильное, благоустроенное, с явным перевесом над опаснейшею соперницею, Польшею, со всеми средствами к господству над европейским севером, уважаемое на западе, грозное на востоке и юге». В этих словах ясно выражается мнение о полном благосостоянии России, как внешнем, так и внутреннем, во времена предпетровские. По-видимому, при общем благоустройстве невозможны были никакие неудовольствия и волнения внутренние; тем менее можно было предполагать целый ряд неудач внешних. Казалось, благоденствие должно было водвориться в государстве прочно и невозмутимо; в народе должно было утвер-

даться довольство; с каждым годом все должно было улучшаться и совершенствоваться силою внутреннего, самобытного развития; не предстояло, по-видимому, ни малейшей нужды в отклонении от прежнего пути; тем менее могла представляться надобность в каких-нибудь преобразованиях. Так именно и говорят приверженцы старой Руси; так говорил Карамзин, то же заставляет думать обозрение *светлой* стороны древней Руси, сделанное г. Устряловым. Но не то говорят факты, представляемые им же в первом томе «Истории Петра». Из них, напротив, видно, что древняя Русь, истощая все свои силы для поддержания старого порядка, выказывала, однако, только совершенное свое бессилие и не могла ничего сделать, кроме временного поддержания внешней формы. Наружно, по уставам и бумагам, все казалось если не совершенно стройным и правильным, то по крайней мере стремящимся к благоустройству и правде. Но внутри все было расстроено, искажено, перепутано, лишено всякой чести и справедливости. Все было натянуто до того, что нужно было – или разом выйти из старой

колеи и броситься на новую дорогу, или ждать страшного, беспорядочного взрыва, предвестием которого служило все царствование Алексея Михайловича. {20}

Царь Алексей Михайлович много заботился об улучшении внутреннего положения России. В его царствование принято было много мер законодательных и административных, обещавших содействовать упрочению народного благоденствия. Одно уже издание «Уложения» могло быть названо благодеянием, при неопределенности судопроизводства старинной Руси. Кроме того, изданные потом постановления, разные отдельные уставы, дополнения к «Уложению» доказывали постоянную заботу царя об улучшении юридических отношений. Отменение внутренних таможен, официальное поощрение разных отраслей промышленности, учреждение почт, старание образовать регулярные войска, попытка завести флот – все это остается памятником постоянных усилий царя привести в лучший вид течение дел в его государстве. Но, при всем доброжелательстве своем, Алексей Михайлович имел весьма мало успеха в

своих начинаниях. Он был царем русским в трудное время; новые, чужие элементы отовсюду пробивались на смену отжившей старины, которая не имела за себя ничего, кроме привычки и невежества. Роль правителя в этом случае была определена: ему следовало стать во главе движения, чтобы спасти народ от тех бедствий, в которые вовлекало его столкновение новых начал с невежественной рутиной старых бояр. Для этой цели ему нужно было овладеть общим движением и направить его к добру, сколько возможно, ставши во главе тех, которые шли к свету. Но это решение, столь простое теперь, не было легким тогда. В то время требовались необыкновенные способности умственные, чтобы верно угадать и определить силу и значение новых элементов, вторгавшихся в народную жизнь; требовалась и чрезвычайная сила характера, чтобы твердо ступить на новую дорогу и неуклонно идти по ней. И то и другое нашлось у Петра; но не было ни того, ни другого в предшествующие ему правления. Царствование Алексея Михайловича, бесспорно, стремилось к какому-то совершенствованию, об-

щий характер его законодательства запечатлен любовью к истине и добру; правительство хотело улучшений разумных, видело необходимость исправить многое. Но вместе с тем все его распоряжения были всегда только полумерами, отзывались нерешительностью и робостью. Видно, что еще не постигли того, до какой степени необходима для древней Руси коренная реформа, уже давно приготавливавшаяся в народной жизни. Алексей Михайлович, конечно, мог бы заметить брожение, бывшее в народе, и мог бы им воспользоваться для блага государства, подобно Петру; но у него не было той решимости, той деятельной и упорной энергии, какою обладал его сын. Поэтому он допустил обольстить себя своим вельможам и позволил себе поверить их уверениям, что все хорошо. Морозов, Милославский, Никон, Хитрово, попеременно один за другим, владели умом царя. Мейербер пишет, что «добрый Алексей находится совершенно в осаде у своих вельмож и любимцев, так что никому нет к нему доступа. А эти любимцы скрывают от него и вопли угнетенных ими, и нужды царства, и поражения

войск русских; если же не скрывают, то представляют все в таком виде, как это нужно для их целей» (см. Мейербер, стр. 87).{22} Коллинс говорит еще больше; он утверждает, что «царя Алексея Михайловича можно было бы поставить в числе самых добрых и мудрых правителей, если бы все его благие намерения не направлялись к злу боярами и шпионами, которые, подобно густому облаку, окружают его» (Коллинс, стр. 13).{23} Так говорят иноземцы; так говорил и народ. Во время бунта Разина был слух в народе, что к Степану Тимофеевичу бежал, дескать, царевич Алексей, по желанию самого царя, затем, чтобы с помощью Разина перебить всех бояр, которые окружают его и от которых он не знает как отделаться. Свидетельство об этом сохранилось в актах (см. «Акты Археографической экспедиции», том IV, стр. 239).{24}

Народ никак не хотел приписывать самому Алексею Михайловичу что-нибудь дурное и твердо верил, что все тягостные для него меры суть произведение коварных бояр, окружающих царя. Так действительно и было; но народу от этого не было легче, и мера

терпения его истощилась. «Общее неудовольствие сословий, – говорит сам г. Устрялов в своем «Введении» (стр. XXVII), – заметное в последние годы царствования Михаила Феодоровича, разразилось, по воцарении сына его, страшным бунтом в Москве, Новгороде, Пскове и других городах. Вскоре после того вспыхнул бунт коломенский; там поднялся на Дону Разин; тут взволновалась Малороссия. Даже мирная обитель Соловецкая возмутилась». В самом деле, грустно становится и за Россию и за доброго царя, когда читаешь, какими презренными интригами люди, окружающие его, парализовали его добрые намерения и раздражали народ. Так, например, первый мятеж московский – чем был он вызван? Тем, что Морозов и Милославский постарались об увеличении некоторых налогов да поставили на все теплые места своих родственников, которые не только обирали просителей, но еще делали им при этом всевозможные грубости. Сначала неудовольствие было глухо и не выходило из пределов законности: много челобитных подано было на имя государя, только они не доходили до него. Тогда народ нашел

случай окружить царя на площади (в конце мая 1648 года) и смиренно умолял его удалить своих ненасытных и неправедных советников. Царь обещал сам рассмотреть дело и наказать виноватых; народ, полный радостного доверия к его слову, с восторгом выслушал его решение и, точно в великий праздник, бежал за царем с торжественными кликами до самых кремлевских ворот. Но это светлое, радостное настроение народа было потревожено клеветами Милославского и Морозова, которые вздумали ругать и даже бить тех, которые жаловались царю. Народная сила приняла другое направление: разграблены были дома временщиков, растерзаны некоторые из их родственников, их самих потребовал народ для казни. И тут-то во всей силе явилось великодушие Алексея и приверженность к нему народа, доказавшая, что между царем и народом до сих пор, собственно, не было ничего, кроме недоразумения. Все волнение было прекращено тем, что удалены от должностей виновные в притеснениях народа и что царь явился сам к народу на площадь и просил его забыть проступки Морозова, в

уважение тех услуг, какие оказал он государю. Та же сцена народной преданности повторилась теперь: народ, бросившись на колени, воскликнул: «Пусть будет, что угодно богу и тебе, государь; мы все дети твои!» И все было успокоено в Москве потому, что все остались довольны справедливостью и великодушием царя.

Но, исправивши дело в Москве, не подумали о том, чтобы удалить поводы к волнениям в других местах, и вскоре поднялся народ во Пскове и Новгороде и избил многих ненавистных ему чиновников, а потом писал, что делал так «к великому государю радением». Алексей Михайлович видел, откуда происходит беда, старался сам входить в дела более прежнего, доверять любимцам менее; но не мог он совершенно освободиться от старых преданий, не пошел путем реформ, а хотел поправить дело путем неприметных, постепенных улучшений, хотел достигнуть цели полумерами, понемножку подвигая дело. Восстание Разина, волнения в Малороссии, безуспешная война с Польшей и Швецией, история Никона и образование раскольничьих

сект служили ему ответом. Он должен был убедиться, что не может, при мягкости своего характера и при обычной древним московским государям отчужденности от народа, разрешить великие вопросы, которые задавала ему народная жизнь. Разрешить эти вопросы суждено было энергическому Петру.

Да, Петр разрешил вопросы, давно уже заданные правительству самою жизнью народной, – вот его значение, вот его заслуги. Напрасно приверженцы старой Руси утверждают, что то, что внесено в нашу жизнь Петром, было совершенно несообразно с ходом исторического развития русского народа и противно народным интересам. Обширные преобразования, противные народному характеру и естественному ходу истории, если и удаются на первый раз, то не бывают прочны. Преобразования же Петра давно уже сделались у нас достоянием народной жизни, и это одно уже должно заставить нас смотреть на Петра как на великого исторического деятеля, понявшего и осуществившего действительные потребности своего времени и народа, а не как на какой-то внезапный скачок в на-

шей истории, ничем не связанный с предыдущим развитием народа. Этот последний взгляд, разделяемый многими, происходит, конечно, оттого, что у нас часто обращают внимание преимущественно на внешние формы жизни и управления, в которых Петр действительно произвел резкое изменение. Но если всмотреться в сущность того, что скрывается под этими формами, то окажется, что переход вовсе не так резок, с той и с другой стороны, – то есть что во время пред Петром в нас не было такого страшного отвращения от всего европейского, а теперь – нет такого совершенного отречения от всего азиатского, какое нам обыкновенно приписывают. Словом – внимательное рассмотрение исторических событий и внутреннего состояния России в XVII столетии может доказать, что Петр рядом энергических правительственных реформ спас Россию от насильственного переворота, которого начало оказалось уже в волнениях народных при Алексее Михайловиче и в бунтах стрельецких.

И до Петра было у нас сближение с Европою, были заимствования от иноземцев, бы-

ли нововведения. Но все это делалось робко, как бы случайно, без всякого плана, без строго определенной идеи. В общем признании превосходства иностранцев и в необходимости пользоваться их услугами – равно были убеждены как правительство, так и народ. Но далее, в определении того, что именно заимствовать у иноземцев, правительство не сходилось с народом до времен Петра. Предшественники Петра полагали возможным пользоваться услугами иностранцев, ничего от них не заимствуя для народной жизни, не перенимая ни их нравов и обычаев, ни образования. Так, со времен Бориса Годунова у нас постоянно увеличивалось число иностранных офицеров при войске; при Михаиле Федоровиче наняты были иноземные полки и сделана попытка устройства русских полков по иноземному образцу; при Алексее Михайловиче число иноземцев особенно увеличилось: в одном 1661 году, по разысканиям г. Устрялова (том I, стр. 181), выехало в Россию до 400 человек. Большая часть иноземных офицеров была вызываема затем, чтоб обучать русские войска «иноземному строю». В

последний год жизни Феодора Алексеевича у нас было уже 63 полка, образованных по иностранному образцу (том I, стр. 184). Но все это, по сознанию самого же г. Устрялова («Введение», стр. XXIX), «нисколько не изменило нашей системы войны: мы ополчались по-прежнему, сражались по старине, нестройными массами, и царь Феодор Алексеевич откровенно сознался Земскому собору, что даже турки превосходили нас в воинском искусстве». Отчего происходили такие странные, на первый взгляд, результаты? Оттого, разумеется, что военное искусство, точно так же, как и все другое, не может быть усовершенствовано *separatno*, без всякого отношения к другим предметам управления и жизни народной. Петр Великий, по собственному признанию в одном приказе, как мы увидим впоследствии, также имел в виду прежде всего воинское образование; но он понял связь его со всеми другими частями государственного устройства. Предшественники его не понимали этой связи и думали улучшить ратное дело в России, вовсе не касаясь других сторон государственного управления и предполагая, что со-

вершенство ратного строя может все поддерживать и поможет им возвеличить Россию, даже при отсутствии всяких других совершенств. Но оказалось совершенно противное: как ни бились иноземные офицеры и полковники, а древняя Русь не только не достигла с их помощью величия пред врагами, но и просто воинского искусства-то не приобрела. Объяснение этого замечательного факта заключается именно в том обстоятельстве, что военное искусство хотели у нас развить совершенно одиноко, не думая в связи с ним ни о каком другом развитии. Вот что находим по этому поводу в книге г. Устрялова:

В сущности, русское войско при царевне Софии немногим отличалось от ратных ополчений времен Годунова и Иоанна Грозного: название рейтар, копейщиков, драгун, солдат, также некоторая перемена оружия по иностранным образцам, самое разделение на полки и роты, под начальством иностранных полковников, ротмистров и капитанов, – ничто не могло переродить старых воинов Руси: по-прежнему они остались теми же дворянами,

боярскими детьми, городовыми казаками, вообще землевладельцами разных названий, более или менее обширных поместьев, от 800 дворов до 5 четвертей земли, – какими были за столет пред сим; по-прежнему большую часть года проживали в деревнях и дворах, рассеянных по волостям и станам, хлопоча более о насущном хлебе, о домашнем хозяйстве, о прокормлении себя и семейства, чем о военной службе. Карабин и сабля спокойно по целым месяцам висели на стене, покрываясь ржавчиной; воин-помещик возился с сохою, молот муку или ездил по ярмаркам и торговал чем мог. Собрать их в поход было столь же трудно, как и прежде: невзирая на самые строгие указы, тысячи дворян, рейтар, солдат сказывались в нетех; самые иноземцы, бездомные капитаны, голодною и жадною толпою приходившие в Россию, заживались в пожалованных им поместьях и до того обленивались, что нередко досиживались в своей деревне до третьего нета, поплачиваясь за каждый нет своею спиною под батожьем; после третьего нет их

*обыкновенно выгоняли за границу
(сотни примеров можно найти в раз-
борных книгах с 1671 года по 1700)
(том I, стр. 187–188).*

Из этого ясно, что присутствие военных иностранцев в России гораздо более действовало на характер и образ жизни их самих, нежели на развитие нашего военного искусства. Иностранцы эти составляли у нас до Петра какое-то государство в государстве, совершенно особое общество, ничем не связанное с Россией, кроме официальных отношений: жили себе все они кучкой, в Немецкой слободе, ходили в свои кирхи, судились в Иноземском приказе, следовали своим обычаям, роднились между собой, не смешиваясь с русскими, презираемые высшею боярскою знатью, служба предметом ненависти для Духовенства.{25} Их допускали и даже звали в Россию так, как теперь допускают и даже ищут иностранных фокусников, камердинеров, парикмахеров и пр. Но отношения к ним были именно в том роде, что ты, дескать, на меня работай – это мне нужно, – но в мои отношения не суй своего носа и фамильярничать со

мною не смей. Г-н Устрялов замечает (том II, стр. 117), что «редкий сановник, даже из среднего круга, не говоря о высшем, водил хлеб-соль с обывателями Немецкой слободы. Служилые иноземцы самых отличных достоинств и заслуг, невзирая на их генеральские чины, на раны и подвиги, никогда не могли стать наряду с русскими. Никогда наши государи не приглашали их к своему столу, не допускали их в царскую Думу: они знали только свои полки и ходили, куда прикажет Разряд. В жалованных войскам грамотах, по окончании походов, иноземные генералы и полковники упоминались ниже городских дворян, жильцов и детей боярских; при торжественных выходах они занимали место ниже гостей и купцов».

Такие же точно отношения русское правительство до Петра наблюдало и с другими иноземцами, не военными. Так, со времен Михаила Феодоровича у нас при дворе были постоянно иностранные врачи, но никто не подумал перенять от них й1единские сведения. Были у нас издавна пушкари, инженеры иноземные, но они делали свое дело, не

передавая своего искусства русским. Являлись и промышленники всякого рода; но они только пользовались возможными выгодами, так что русские даже жаловались на притеснения от них. Явился, например, у нас *барабарец* (гамбургец) Марселис с голландцем Акамою, выхлопотал позволение отыскивать руду по всей России и вскоре основал Ведменский железный завод; и завод этот около 50 лет оставался в исключительном владении его дома. Английские и голландские торговцы получали разные льготы и привилегии в России, но не оживляли нашей торговли своим участием. Все эти факты убеждают нас, что тогдашним административным и правительственным деятелям действительно чуждо было, по выражению г. Устрялова («Введение», стр. XXVIII), «то, чем европейские народы справедливо гордятся пред обитателями других частей света, — внутреннее стремление к лучшему, совершеннейшему, самобытное развитие своих сил умственных и промышленных, ясное сознание необходимости образования народного». Да, отсутствие этого сознания ясно во всех наших отношениях к

иноземцам в допетровское время.

Еще более противодействовало иноземцам духовенство XVII века.^{26} В IX приложении к первому тому «Истории Петра Великого» напечатано завещание патриарха Иоакима, в котором он настоятельно требует, чтобы иноземцы лишены были начальства в русских войсках. Вот извлечение, какое приводит из этого завещания г. Устрялов в тексте своей «Истории» (том II, стр. 115–116):

Молю их царское пресветлое величество благочестивых царей и пред спасителем нашим богом заповедываю, да возбранят проклятым еретикам иноверцам начальствовать в их государских полках над своими людьми, но да велят отставить их, врагов христианских, от полковых дел всесовершенно, потому что иноверцы с нами, православными христианами, в вере не единомысленны, в преданиях отеческих не согласны, церкви, матери нашей, чужды: какая же может быть помощь от них, проклятых еретиков, православному воинству? Токмо гнев божий наводят! Православные христиане, по чину и обычаю церковному, мо-

лятся богу; а они спят, еретики, и свои мерзкие дела исполняют. Христиане, чувствуя пречистую деву богородицу, просят ее, небесную заступницу, и всех святых о помощи; еретики же, не почитая ни богоматери, ни угодников божиих, ни святых икон, смеются и ругаются христианскому благочестию. Христиане постыятся; они никогда: их же бог – чрево, по слову апостольскому. Хотя и с полками ходят, да бога с ними нет: какая же может быть от них польза?

Разве нет в благочестивой царской державе своих военачальников? Мало ли у нас людей, искусных в ратоборстве и полковом устройении? И прежде, в древних летах, и в нашей памяти иноверцы предводительствовали российскими полками: какая же была от них польза? Никакой. Явно, что они – враги богу, пречистой богородице и святой церкви. Христиане православные более за веру и церковь божию, нежели за отечество и дома свои, не щадя жизни, на бранях души свои полагают; а они, еретики, о том и не думают!.. Дивлюсь я царским палатным со-

ветникам и правителям, которые бывали в чужих краях на посольствах: разве не видели они, что в каждом государстве есть свои нравы, обычаи, одежды, что людям иной веры там никаких достоинств не дают и чужеземцам молитвенных храмов строить не дозволяют? Есть ли где в немецких землях благочестивый веры церковь? Нет ни одной! А здесь – чего и не бывало, то еретикам дозволено: строят себе, для еретических проклятых сборищ, мольбищные храмины, в которых благочестивых людей злобно клянут и лают идолопоклонниками и безбожниками.

Еще решительнее духовенство сопротивлялось вторжению иноземных обычаев в русскую жизнь. Грозные проклятия постигли тех, которые перенимали разные немецкие обряды и моды.^{27} Для примера довольно указать на один из самых невинных обычаев – бритье бороды. Еще патриарх Филарет восставал против бривших бороды, потом Иосиф и, наконец, патриарх Адриан в своем окружном послании, писанном уже в первые

годы единодержавия Петра (см. «Историю Петра», том III, стр. 193–194).

В послании этом выражается частью вообще дух того времени, частью же личный характер Адриана, отличавшегося приверженностью к старине столько же, как и предшественник его, патриарх Иоаким. Но, независимо от этого, в его послании находим мы свидетельство о том, что обычай брить бороды начался в России со времен самозванцев и с тех пор, несмотря на многие запрещения, постоянно распространялся до времен царя Алексея Михайловича.

Вообще, из рассмотрения множества фактов, относящихся к внутреннему состоянию России пред Петром, оказывается несомненно, что сближение с иноземцами и заимствование от них обычаев мало-помалу являлось в народе вовсе не вследствие административных мер, а просто само собою, по естественному ходу событий и жизни народной. Высшая администрация, как духовная, так и светская, усиливалась, напротив того, отвратить народ от иноземных обычаев, стараясь представить их беззаконными и нелепыми. Не мудрено

при этом, что в народе долгое время обнаруживалось недоверие и презрение к иностранцам, в особенности по тому случаю, что иностранцы часто получали в России выгоды и относительный почет за такие дела, пользы которых народ еще не понимал или не признавал. Так вооружался он против иностранных докторов, ученых, особенно астрономов, которых считал колдунами. Недоверие иногда переходило в ненависть, и тогда народ преследовал бусурманов, так что правительство должно было в этих случаях неоднократно издавать особые указы для защиты иноземцев от обид и оскорблений. Но при всем том влияние иностранцев было сильнее на народ, нежели на администрацию. Не говоря о других сторонах жизни народной, при Алексее Михайловиче стали бояться влияния иностранцев даже в религиозном отношении. В «Уложении» (глава XXII, ст. 24) есть статья, в которой говорится, что если бусурман обратит русского человека в свою веру, то бусурмана того «по сыску казнить: сжечь огнем без всякого милосердия». Из того же опасения происходило, по свидетельству Кошихина, за-

труднение в поездке за границу, если бы кто захотел из русских людей. {28} В «Уложении» есть, правда, статья, говорящая, что «кому случится ехать из Московского государства, для торгового промыслу или иного для какого своего дела, в иное государство, которое государство с Московским государством мирно, – и тому на Москве бити челом государю, а в городех воеводам о проезжей грамоте, а без проезжей грамоты ему не ездити. А в городех воеводам давати им проезжие грамоты без всякого задержания» (гл. VI, ст. 1). Но, вероятно, много было каких-нибудь затруднений в этом случае, потому что Кошихин говорит, что, кроме как по царскому указу да по торговым делам, никто не ездит за границу: «не *поволено!*» А не поволено потому, что опасались, по свидетельству Кошихина, что, «узнав тамошних государств веру и обычаи, начали б свою веру отменять и приставать к иным». Да и за тех, которые ездят для торговли, собирали, по словам Кошихина, «по знатных нарочитых людях поручные записи, за крепкими поруками» (Кошихин, стр. 41). Если же кто вздумал бы съездить за границу без проезжей грамо-

ты и это бы открылось, то его, пытавши, казнили смертью, в случае, когда бы открылось, что он ездил «для какого дурна»; когда же оказалось бы, что он ездил действительно для торговли, то его только били кнутом, «чтобы иным неповадно было» («Уложение», VI, 4). Ясно, что вообще за границу отпускали неохотно, а между тем были люди, понимавшие, что нам необходимо учиться у немцев: один голос Кошихина сам по себе уже может служить доказательством.

Само собою разумеется, что важность истинного образования не сразу была понята русскими и что с первого раза им бросились в глаза внешние формы европейской жизни, а не то, что было там выработано в продолжение веков, для истинного образования и облагораживания человека. Многие обвиняют Петра Великого в том, что он внес в Русь только внешность европейской образованности; но это вина вовсе не Петра. Мудрено было требовать от русских XVII века, чтобы они принялись усваивать себе существенные плоды иноземных знаний и искусств, не обратив внимания на внешность и не заимствовав

ничего дурного и бесполезного вместе с полезным и необходимым. Мы имеем несколько фактов, свидетельствующих, что русские и до Петра принимались уже подражать иностранцам, и подражать именно во внешности. Начинается это с самого двора. При Алексее Михайловиче являются у нас немецкие комедианты, играющие на органах, в трубы трубящие, балансирующие на канатах и представляющие разные *действия*. Чтобы посмотреть на это потешное зрелище, бояре, okolничие, думные дворяне и пр. нарочно должны были ехать из Москвы в Преображенское. Мало того: Артамон Сергеевич Матвеев заставил дворовых людей своих учиться потешному искусству у заморских комедиантов; а не заставил же учиться чему-нибудь другому у других иноземцев, бывших в Москве, – медицине, например, или хоть бы инженерному искусству...

То же самое было и в народе. Несмотря на запрещения правительства и особенно духовенства, иноземные моды распространялись и утверждались. Из обличий Адриана видно, что при нем на Москве уже не редкостью

был обычай брить бороду. Появлялась уже и иноземная одежда: сохранился рассказ о боярине Никите Ивановиче Романове, который не только сам одевался, но и прислугу свою одевал в немецкие одежды и у которого взял и сжег их патриарх Никон. Кроме того, сохранился указ о «неношении платья и нестрижении волос по иноземному обычаю», данный уже в последний год царствования Алексея Михайловича. В нем объявляется (Полн. собр. зак., № 607, 6 августа 1675 года):{29} «Стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и жильцам указал великий государь свой государев указ сказать, – чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили и людям своим потому ж носить не велели. А будет кто впредь учнет волосы подстригать и платье носить с иноземского образца, или такое ж платье объявится на людях их: и тем от великого государя быть в опале и из вышних чинов написаны будут в нижние чины». Не очевидно ли проявляется в этом старание задержать

распространение иноземной моды? Но особенно сильно восставали постановления допетровские против табаку, и, однако, по свидетельству иноземцев, употребление табаку было особенно распространено между русскими в конце XVII века. Гюи Мьеж, бывший у нас посланником около этого времени, говорит, что «русские готовы все сделать и все отдать за табак». Между тем закон страшно вооружался против табаку, до самых времен Петра. Уложение (глава XXV, ст. 11 (и) след.) повторяет указ Михаила Феодоровича, которым «на Москве и в городех о табаке заказ учинен крепкой под смертной казнью, чтоб нигде русские люди и иноземцы всякие табаку у себя не держали, и не пили, и табаком не торговали. А кто русские люди и иноземцы табак учнут держати или табаком учнут торговати, и тех продавцов и купцов велено имати, и присылати в Новую Четверть, и за то тем людям чинити наказанье большое без пощады, под смертною казнью, и дворы их и животы имая продавать, а деньги имати в государеву казну». В следующих статьях говорится, что нужно пытать тех, у кого окажется

табак, чтобы узнать, от кого они его получили; а затем пытаться и тех, на кого они укажут. Если же кто скажет, что табак им найден или к нему подкинут, то его пытаться; и если под пытку станет говорить все одно и то же, то его «свобожати *беспенно*», – только «за табачную находку *бити кнутом на козле*» (ст. 14). «А которые стрельцы, и гулящие, и всякие люди с табаком будут в приводе дважды или трожды, и тех людей пытати, и не одинова, и бити кнутом на козле или по торгом; а за многие приводы у таких людей пороти ноздри и носы резати, а после пыток и наказанья ссылати в дальние города, где государь укажет, чтоб на то смотря иным так неповадно было делати» (ст. 16),

В 1661 году, июня 3, подтверждено было запрещение о табаке «под казнью и под большою заповедью: что велят им чинить *жестокое* наказание и пени велят на них имать *денежные большие*» (Поли. собр. зак., том I, № 299). Сам указ угрожает *жестокою* казнью: какая казнь могла считаться жестокою в то время, когда отсечение руки и обеих ног было только облегчением прежней казни смерт-

ной (Поли. собр. зак., № 510), когда били кнутом невянского приказчика за то, что он не дал подвод, недалеко от Тобольска, царским сокольникам, которые поэтому должны были нанять себе подводы за 40 алтын (Акты исторические, том IV, № 64).{30} И, несмотря на все эти жестокие казни, употребление табаку распространялось. Правы ли же раскольники, укоряя Петра в потворстве *табачникам*, за то, что он дозволил вольный провоз и продажу табаку и даже велел отвести в Москве *палаты* для торгова им? (Полн. собр. зак., том III, № 1570.) Он поступил просто как мудрый администратор: видя, что нет средств отвратить контрабанду, даже казнью и «пороньем ноздрей», он дозволил ввоз запрещенного зелья и таким образом сделал из него по крайней мере статью государственного дохода...

Но мы оставляем до следующей статьи обозрение того, что сделал Петр и как он отнесся к старой партии, встретившей его с самого начала противодействием всем его намерениям. Теперь же мы повторим только, что преобразования Петра не должны быть рассматриваемы иначе, как в связи с разви-

тием народных стремлений. И если когда-нибудь будущий историк Петра возьмется за свой труд именно с этой мыслью, то он, конечно, представит нам в совершенно ясном свете многие явления народной жизни, о которых мы теперь едва имеем слабое понятие. Множество материалов, собранных или указанных ныне г. Устряловым, могут значительно облегчить работу будущего исследователя. Тогда только и может составиться истинная *история* царствования Петра, во всей силе и обширности ученого ее значения, а не биография исторического лица, с изложением событий, имеющих отношение к этому лицу. Тогда объяснится в подробностях многое, о чем теперь мы можем судить только вообще. К сожалению, до сих пор история писалась преимущественно в смысле внешнегосударственном, так что о внутренней жизни народа мы имеем только отрывочные сведения, да и теми дорожили до сих пор очень мало. Но стоит раз обратиться истории на этот путь, стоит раз сознать, что в общем ходе истории самое большое участие приходится на долю народа и только весьма малая Доля остается

для отдельных личностей,{31} – и тогда исторические сведения о явлениях внутренней жизни народа будут иметь гораздо более цены для исследователей и, может быть, изменят многие из доселе господствовавших исторических воззрений. Может быть, этот живой взгляд будет обращен со временем и на историю древней Руси. Предшественники Петра старались поддерживать старину и, видя зло, думали поправить его, починивая кое-где старую систему. Несмотря на то, старая система все падала, все становилась хуже, все более и более возбуждала негодование народа, который чувствовал необходимость нового, но не знал, где и как его искать. По незнанию своему, он, разумеется, перенимал всякую дрянь. Его преследовали и казнили за это, но не изменяли условий народной жизни, не давали возможности перенимать хорошее.{32} Разлад старого с новым делался все ощутительнее, и, лишенное ясного сознания, не имея никаких определенных целей, без знания и без руководителя, это стремление к новому и негодование против непоправимой старины могло бы сделаться источником долгих бед-

ствий для государства, при дальнейшем упорстве старинной партии. Но Петр понял потребности и истинное положение народа, понял негодность прежней системы и решительно ступил на новую дорогу. Переворот, совершенный им, был быстр, но не был насильствен.

Статья вторая

Нововведения Петра не были насильственным переворотом в самой сущности русской жизни; напротив, многие из них были вызваны действительными нуждами и стремлениями народа и вытекали очень естественно из хода исторических событий древней Руси. Эта мысль, составившая содержание нашей прошедшей статьи, ожидает еще обширной фактической разработки; но мы не сомневаемся, что чем более станем мы сводить факты народной жизни за вторую половину XVII и первую четверть XVIII века, тем яснее будет выказываться соответствие между ними, вместо представляющегося на первый раз противоречия. Кроме мысли об общих законах исторического развития, в естественной законности петровской реформы нас может убедить еще одно соображение, относящееся к лицу самого Петра. Петр по своему воспитанию и по коренным убеждениям принадлежал своему времени и народу; он не был в нашей истории явлением внешним и чуждым. Петровские преобразования никак

нельзя сравнивать с такими явлениями, как, например, обновление древнего римского мира через внесение в него новых элементов из германских народностей. Петр не внес чуждых принципов в те элементы государственного устройства, которые г. Устрялов называет *основными*; он даже не мог их коснуться, при всей решимости своего характера, именно потому, что такое коренное изменение не было выработано в народном сознании. Как ни высоко стал Петр своим умом и характером над древнею Русью, но все же он вышел если не из народа, то по крайней мере из среды того самого общества, которое должен был преобразовать. Мысль преобразования, приведенная им в исполнение, была, следовательно, доступна этому обществу и могла проявляться в различных его членах, хотя не в такой степени развития, как в пылкой, энергической натуре Петра. В этом отношении весьма любопытно было бы проследить те влияния, которым подвергался Петр в своем семействе и в обществе приближенных людей во время своего детства и первой юности. Здесь биографический интерес не лишен был

бы и общеисторического характера, показывая степень развития и направление стремлений того общества, которое произвело необыкновенную натуру преобразователя. Разумеется, в историческом отношении неважны сами по себе мелочи домашней жизни государственного человека; но в иных случаях эти мелочи являются нам как ближайшие поводы важных событий исторических, то есть, по общественной пословице, как «малые причины великих следствий». Пословица эта, в высшем историческом смысле, есть, конечно, не что иное, как несправедливая пошлость; но она не лишена основательности, если относить ее не к *причинам*, а к ближайшим *поводам* событий. Конечно, довольно забавно слышать, что хоть бы, например, причиной спасения Рима от галлов были гуси; но все-таки (признавая факт справедливым) нельзя не согласиться, что именно гуси пробудили спавших римских воинов. Так точно и семейные отношения государственных лиц хотя, в сущности, не могут быть истинными причинами исторических событий, но во многих случаях служат ближайшим их поводом. Это

бывает именно тогда, когда, по ходу исторического развития народа, выдвигаются из общей массы некоторые фамилии и лица, в полное распоряжение которых переходит судьба народа. Так, например, в самом начале римской империи история указывает нам на семейные огорчения Августа как на причины того, что в последние годы своего правления он не мог отвратить тех бедствий, которым Рим подвергся тогда извне и внутри. Если хотите, это справедливо: забота о своей дочери очень расстраивала Августа и много мешала ему в распоряжениях на пользу Рима. Но в самом-то деле – какое же соотношение между историей девицы Ливии и падением Римской империи? Упадок Рима начался гораздо раньше; самые события, бывшие следствием Актийской битвы, были уже результатами упадка народной доблести в Риме, и если б девицы Ливии не было на свете и Август наслаждался высочайшим семейным благополучием – римская история не изменила бы своего хода. При всем том семейные отношения Августа входят в историю, потому что при нем Рим находился уже в таком положении, что

домашние дела одного лица имели для него большое значение и могли служить поводом важных государственных событий. Большею частью мы видим в истории народы и царства, в которых весьма важное влияние имеют частные отношения отдельных личностей, выдвинутых вперед ходом истории. Наша история не составляет в этом случае исключения, и вот почему мы сказали, что проследить семейные и общественные влияния на Петра, в его детские и юношеские годы, было бы любопытно не только в биографическом, но и в общеисторическом отношении.

К сожалению, сведения о первых годах жизни Петра совершенно неудовлетворительны. Даже история г. Устрялова, несмотря на свой преимущественно биографический характер, почти ничего не дает в этом отношении. Известия о Петре, хотя сколько-нибудь подробные и достоверные, начинаются только с шестнадцатого года его возраста. Анекдоты, какие до сих пор рассказывали о детстве Петра, отвергнуты г. Устряловым, как не имеющие исторического основания. Так, прежде всего он отвергает и признает неле-

пым гороскоп Петра, будто бы составленный Симеоном Полоцким и Димитрием Ростовским по течению светил небесных. В прошедшем столетии все ему верили безусловно; в нынешнем возникли уже глубокомысленные сомнения в том, чтобы Симеон и Димитрий могли действительно угадывать по звездам судьбу человека. Но самый факт предсказания оставался неприкосновенным. Полевой хотел объяснить его тем, что «надежда народа лелеяла колыбель Петра своими предсказаниями». Подобным образом недавно объяснял этот факт г. Щебальский в статье своей о правлении царевны Софии, обратившей на себя общее внимание и отличающейся обилием ошибок. В подтверждение факта предсказания ссылается г. Щебальский на переписку Гревия и Гейнзия относительно этого предмета. Переписка эта указана Штелином, {33} профессором аллегории (как его удачно называет г. Устрялов), который обнародовал даже вполне письмо Гревия, в котором он писал к Гейнзию в Москву, что сообщенные им астрологические знамения поверены утрехтскими учеными и признаны справедливыми. К сожалению

нию, по исследованиям г. Устрялова оказалось, что Гейнзий выехал из Москвы за два года до рождения Петра и был в Бремене в то время, когда наши историки находят его в Москве «в переписке с Гревием». Письмо, обнародованное Штелином, составляет, по всей вероятности, им же самим сочиненную аллегорию, чего от него, как от профессора аллегории, и ожидать следовало. История же о горокопе, составленном Симеоном и Димитрием, изобретена «баснословцем» Крекшиным: ни в рукописях, ни в печатных сочинениях Симеона такого предсказания нет; что же касается до Димитрия, то он вовсе и не был в Москве при рождении Петра; предсказание явно извлечено из событий уже совершившихся и составлено по смерти Петра.

Столь же неосновательными оказались и другие рассказы о детстве Петра, например о том, как, ради его храбрости, заведен был особый *Петров* полк в зеленом мундире и Петр, еще трехлетний младенец, назначен был его полковником; как Петр боялся воды и преодолевал свою боязнь; как он, будучи десяти лет, являлся пред сонмищем раскольников и гроз-

но препирался с ними и пр. Все это большею частью баснословие Крекшина; в самом же деле, по признанию г. Устрялова, «до пятнадцатилетнего возраста Петра мы не имеем никаких средств следить за постепенным развитием его душевных способностей и можем только догадываться, какое влияние на его юность могли иметь люди и события» (том I, стр. 10).

Самую естественную и справедливую представляется историку догадка, что воспитание Петра было таково же, как и других царевичей в древней Руси. Г-н Устрялов говорит, что, по всей вероятности, и Петра воспитывали так же, как, по рассказу Кошихина, обыкновенно воспитывали тогда детей царских. А Кошихин говорит об этом вот что: «Как царевич будет лет пяти, и к нему приставят для бережения и научения боярина, честию великого, тиха и разумна, а к нему придадут товарища, окольничего, или думного человека; также из боярских детей выбирают в слуги и в стольники таких же молодых, что и царевич. А как приспеет время учить того царевича грамоте, и в учителя выбира-

ют учительных людей, тихих и не бражников; а писать учить выбирают из посольских подьячих; а иным языком, латинскому, греческого, немецкого, и некоторых, кроме русского, научения в российском государстве не бывает... А до 15 лет и большаи царевича, кроме тех людей, которые к нему уставлены, и кроме бояр и ближних людей, видети никто не может (таковой бо есть обычай), а по 15 летех укажут его всем людям, как ходит со отцом своим в церковь и на потехи; а как уведают люди, что уж его объявили, и изо многих городов люди на дивовище ездят смотреть его нарочно» (Кошихин, I, 28). Слова Кошихина вполне оправдываются тем, что известно о первоначальном воспитании Петра. До пяти лет он был на руках кормилицы и мамок, потом к нему определены были дядьками двое Стрешневых, один боярин, другой думный дворянин. Учителем Петра был Зотов, подьячий приказа Большого прихода. При воспитании своем Петр также имел и «младых сверстников» из детей боярских; из них наверное известны, впрочем, только двое: Григорий Лукин и Еким Воронин, оба убитые в

первом азовском походе.

До сих пор господствовало мнение, что любовь к европейским обычаям и мысль о преобразовании России внушил Петру Лефорт. Карамзин, не одобряя вообще Петровой реформы, составил даже весьма красноречивое и весьма категорическое изложение того, каким образом Петр задумал реформу, при посредстве Лефорта. «К несчастью, – говорит он, – сей государь, худо воспитанный, окруженный людьми молодыми, узнал и полюбил женева Лефорта, который от бедности захватил в Москву и, весьма естественно, находя русские обычаи для него странными, говорил ему об них с презрением, а все европейское возвышал до небес; вольные общества Немецкой слободы, приятные для необузданной молодости, довершили Лефортово дело, и пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел сделать Россию Голландией)». {34} Выражения Карамзина очень решительны, как будто бы выведенные из несомненных фактов. Но г. Устрялов опровергает мнение о том, что Лефорт воспитал Петра, доказывая достоверными фактами и сви-

детельствами, что Петр сблизился с Лефортом не ранее 1689 года, в Троицкой лавре, куда Лефорт явился к нему один из первых. В числе доказательств мнения г. Устрялова особенно любопытно открытое им свидетельство самого Петра о начале своего учения. Свидетельство это находится в «историческом известии о начале морского дела в России», писанном рукою Петра и сохранившемся в кабинетных бумагах его. Петр рассказывает здесь, что князь Яков Долгорукий, пред отправлением своим в посольство во Францию, сказал как-то, что у него был «такой инструмент, которым можно было брать дистанции, не доходя до того места», Петр хотел увидеть этот инструмент, но Долгорукий сказал, что его у него украли. Петр просил его купить, «между другими вещами», и такой инструмент во Франции. Долгорукий привез Петру «астролябию да кокор, или готовальню с циркулями и прочим». Петр, разумеется, не знал, как употреблять их, и «объявил дохтуру Захару фон дер Гульсту, что не знает ли он? который сказал, что он не знает, но сыщет такого, кто знает», и в скором времени отыскал Франца Тим-

мермана. У этого-то Тиммермана Петр, уже шестнадцатилетний юноша, принялся учиться арифметике, геометрии, фортификации. «Итак, сей Франц, – говорит Петр, – стал при дворе быть беспрестанно и в компаниях с нами».

Несколько времени спустя Петр, гуляя с Тиммерманом в Измайлове, увидел между старыми вещами в амбарах ботик и на вопрос, что это за судно, получил в ответ от Тиммермана, что «то бот английский». «Я спросил: где его употребляют? Он сказал, что при кораблях для езды и возки. Я паки спросил: какое преимущество имеет пред нашими судами? (Понеже видел его образом и крепостью лучше наших.) Он мне сказал, что он ходит на парусах не только что по ветру, но и против ветра; которое слово меня в великое удивление привело и якобы неимоверно. Потом я его паки спросил: есть ли такой человек, который бы его починил и сей ход мне показал? Он сказал мне, что есть. То я с великою радостью услыша, велел его сыскать» («История Петра», том II, стр. 25). Тиммерман представил Петру Карштена Бранта; бот был

починен, и Петр плавал на нем по Яузе, потом на Просяном пруду, на Переяславском озере и, наконец, на Кубенском. Между тем в царском семействе готовились события, угрожавшие опасностью Петру, но кончившиеся падением Софии. С этого-то времени начинается и сближение Петра с Лефортом.

Приводя рассказ Петра о начале его учения, г. Устрялов справедливо замечает, что если бы Лефорт был тогда при Петре, то отчего же бы не обратиться ему к Лефорту с своими расспросами? Кроме того, мудро было бы думать, что Лефорт, находясь постоянно при царевиче, не мог научить его даже первым началам арифметики и географии. А между тем рассказ Петра и сохранившиеся учебные тетради его ясно показывают, что он стал учиться арифметике только с тех пор, как ему отыскали Франца Тиммермана. Из этого г. Устрялов выводит заключение, что «на первоначальное развитие душевных способностей Петра, на его думы, планы, занятия, *по крайней мере до семнадцатилетнего возраста*, прославленный женевец не имел ни малейшего влияния» (том II, стр. 21).

Во всем этом нам представляется неразрешенным один вопрос, весьма, кажется, существенный: каковы были эти «*думы, планы, занятия*» Петра до семнадцатилетнего возраста? Г-н Устрялов полагает, что в душу Петра уже заронила до этого времени «глубокая дума, которой он остался верен до гроба», что гений его уже пробудился, что в голове его сами собою являлись уже мысли о преобразовании. Все это очень может быть; но мы должны сказать, что мнение г. Устрялова более опирается на его личных соображениях, нежели на несомненных фактах. Факты, представленные им, недостаточны «для нашего времени, требующего от бытописателей строгого отчета в каждом их слове» (том I, стр. 3). Из того, что известно о ходе ученья Петра под руководством Тиммермана, очевидно, конечно, что Петр обладал живою и страстною натурой и замечательными умственными способностями; но каковы были его *думы и планы* в это время, мы не можем сказать положительно. Мы не можем принять за исторический факт, например, следующих мыслей г. Устрялова (том II, стр. 26):

Много было в жизни Петра минут светлых и прекрасных, ознаменованных творческою силою его гения; но та минута, когда он, шестнадцатилетний юноша, вперил вдохновенный взор в полусгнивший бот, около полвека валявшийся в дедовском сарае, между всяким хламом, в пыли, в грязи, без мачты, без парусов, и в уме его мелькнула, как молния, мысль о русском флоте, – принадлежит к самым лучезарным. Она ждет кисти или резца художника с могучим талантом, способным изобразить то, что происходило в эту минуту в душе Петра и чего не в силах рассказать бытописатель.

Отдавая полную справедливость красноречию и изяществу слога в выписанном отрывке, мы считаем, однако же, обязанностью заметить, что он более отличается возвышенной мечтательностью, нежели строгой верностью историческим данным. Мы привели выше рассказ самого Петра об этой минуте, которую г. Устрялов называет «одною из самых лучезарных». Петр рассказывает очень просто, что увидел он, во время прогулки, судно

особого устройства, спросил, чем же оно отличается, и, узнав, что оно ходит на парусах против ветру, удивился и пожелал посмотреть, как это происходит такая странность. Для того и найден был мастер, который починил бот и показал Петру ход его. Все происшествие имеет в рассказе Петра весьма обыкновенный и естественный характер. Ни о вперении вдохновенного взора, ни о «мысли, блеснувшей, как молния», ни о «лучезарности минуты» Петр не говорит ни слова, и мы считаем себя вправе не полагаться в этом случае на фразы г. Устрялова, как не имеющие за себя ручательства в исторических известиях.[3]

Таким образом, до открытия впредь новых достоверных сведений о юности Петра, мы должны считать еще не разрешенным вопрос о том, задумывал ли Петр сам собою свои великие планы ранее, чем узнал Лефорта, даже ранее, чем стал учиться арифметике у Тиммермана (так думает г. Устрялов); или эти планы появились уже впоследствии времени, при влиянии Лефорта и других иноземцев (как полагал Карамзин)? До сих пор последнее мнение кажется нам вероятнее, и мы на-

ходим подтверждение его даже в тех самых фактах, которые г. Устрялов приводит для доказательства того, что не Лефорт был воспитателем Петра. Представим здесь некоторые соображения.

Князь Яков Федорович Долгорукий возвратился в Москву из посольства 15 мая 1688 года. Он привез Петру астролябию, которую царевич показывал Гульсту, а тот в скором времени отыскал Тиммермана, у которого Петр начал учиться. Чтобы дать понятие о том, каково было предыдущее воспитание Петра, мы приведем здесь, из приложений к II тому «Истории» г. Устрялова, начало учебных тетрадей, писанных Петром под руководством Тиммермана. Не выписываем арифметической задачи, которою они начинаются, но приводим текст объяснения самых правил:

АДИЦОЕ.

«буде хочешъ ^в ронья смѣты ^а скоко ^т нѣбу ^х вѣмѣсте сложи ^т чтоі ^х буде ітыстафъ ^т хо
1000 чи ^т хо 100 ^т хо 10 ^т іопьто ^т недума ^т хомноее ^т число ^т напере ^т холалое ^т токо ^т что ^т правая
сторона ^т была ^т равъна ^т а ^т въ ^т выклаткъ ^т стафъ ^т тѣ ^т слова ^т котормя ^т свехъ ^т десяку ^т на
Пъриме ^р гдѣ 17 [7] ^р гдѣ 18 [8] ^р гдѣ 13 [3] ^р гдѣ 14 [4] ^т адесяки ^т стафъ ^т точьками ^т только
точьки ^т прилага ^т ктому ^т слову ^т которое ^т хочешъ ^т счита ^т а ^т будекоторое ^т слововоне ^т свехъ
десяку ^т прилучися ^т ітостафъ ^т беточьки» (Т. II, стр. 434).

Петр писал это, будучи уже шестнадцать лет. Указывая на эти тетради, г. Устрялов сам признается, что они ясно свидетельствуют, как небрежно было воспитание Петра. Шестнадцать лет начинает он учиться сложению, которое называет *адицое*; правописания у него нет никакого; мало того, г. Устрялов свидетельствует, что тетради эти писаны рукою нетвердою, очевидно непривычною, и дают заметить, что Петр в это время едва мог еще, с очевидным трудом, выводить буквы (стр. 19). Признавая необыкновенную силу способностей Петра, удивляясь быстроте успехов его в ученье, мы должны, однако, заметить, что от обучения сложению далеко еще до преобразовательных *планов*. Без всякого сомнения, уже и в это время Петр мечтал о будущем и составлял детские предположения о том, что он совершит; но подобные мечты непременно бывают у всякого дитяти, одаренного пылкою натурою, и их нельзя называть *глубокою думою*, определяющею направление целой жизни, или серьезным *планом* будущих действий. Мечты эти так и остаются мечтами, пока в основании их нет положительного зна-

ния и серьезного исследования предмета, на который мечты эти обращаются. А насколько было положительных знаний у Петра в это время, достаточно показывают факты, открытые самим же г. Устряловым.

Можно бы предположить, что Петр, как натура высшая, гениальная, успел совершенно развиться в тот год, который отделяет начало его ученья (положим, с июня 1688 года) от сближения с Лефортом (в августе 1689). Но исторические факты не совершенно благоприятствуют и этому предположению. Из них видно, что в Петре уже пробудились в это время какие-то неопределенные стремления и что к семнадцати годам у него сложился уже тот деятельный, могучий характер, та энергия, не знавшая препятствий, которая отличала его впоследствии. Но мы не можем сказать на основании исторических данных, чтобы этот мощный характер уже в то время поставил себе определенную цель, к которой должен был стремиться неуклонно. Первые *потехи* Петра, сухопутные и водяные, носят на себе более отпечаток юношеских увлечений, отпечаток *потех*, нежели «глубоких дум и

планов». Мы не находим никакой надобности приискивать глубокомысленных гениальных целей и оснований тому, что само по себе было очень просто. «История Петра, – скажем словами г. Устрялова (том II, стр. 333), – так обильна делами и свойствами истинно великими, что прикрасы ему не нужны».

Живая, страстная пылкость и стремительная решительность характера Петра не допускали его долго останавливаться над теоретическими частностями и составлять хладнокровные, медленные соображения будущих действий и их отдаленных последствий. Это была натура вовсе не созерцательная, а по преимуществу деятельная. Для него все заключалось в практическом применении, а до того, что на практике неудобно, ему не было никакого дела. В юности его мы видим это особенно в отношениях его к своим наставникам. Тиммерман, по замечанию г. Устрялова, был математиком далеко не первоклассным. Он ошибался даже в простом умножении, как видно из задач, писанных его рукою в учебных тетрадях Петра. Можно представить поэтому степень его знаний в высших частях

математики. Но Петру мало было надобности до этого. Ему нужно было, чтоб Тиммерман научил его, как употреблять астролябию и вычислять, при каких условиях и в каком расстоянии бомба может упасть на данную точку. Тиммерман – худо ли, хорошо ли – мог что-нибудь сказать на этот счет, и ученику его было довольно: он тотчас же начал применять наставления учителя к своим потешным занятиям. До самого путешествия своего за границу Петр не видел в Тиммермане того, что открывает историк, именно, что «как способности, так и сведения его были очень ограничены» («История Петра», том II, стр. 120). Во время потешных походов Тиммерман составлял планы потешных крепостей и руководил, при осаде их, земляными работами. Мало того, Петр не усомнился поручить ему инженерные работы даже при первой осаде Азова, где уже дело было не шуточное. И тут-то Тиммерман показал себя: взрывы заложенных им мин вредили нашим же войскам. Несмотря на то, он успел потом выпросить у Петра исключительную привилегию завести в Архангельске, в свою пользу, верфь для купеческих

кораблей, а в Москве – фабрику парусных полотен для поставки их в казну.

Карштен Брант, первый наставник Петра в кораблестроении, также не был, конечно, посвящен слишком глубоко в теорию морского и корабельного дела. Он был простой матрос и имел звание «товарища корабельного пушкаря» на корабле «Орел», строившемся при Алексее Михайловиче. Во время отыскания бота Брант занимался в Москве столярной работой. Несмотря на все это, Петр долго держал его при себе как главного корабельного мастера, и под его руководством строились яхты и фрегаты на Плещеевом озере еще в 1691 году. Матросами и корабельными *мостильщиками* (плотниками) на этих судах были у Петра те же потешные солдаты, которые служили ему в первых его упражнениях в ратном сухопутном деле и в фортификации.

Ничего не известно о том, кто руководил потешными упражнениями Петра. Сначала, вероятно, и не было никого, по замечанию г. Устрялова, потому что потехи действительно служили Петру только забавою и достаточно было одного надзора дядек. Но с 1687 года, ко-

гда уже сформировались полки Преображенский и Семеновский, упражнения эти приняли более правильный характер и нуждались, конечно, в руководителе. Видно, впрочем, что и ратное ученье не слишком удачно шло в первое время, особенно в *артиллерном* деле. В 1690 году, в первый семеновский поход, маневры ведены были так неискусно, что один из *горшков*, начиненных горючими веществами, лопнул близ Петра; взрывом опалило ему лицо и переранило стоявших подле него офицеров, что, по всей вероятности, вовсе не входило в план маневров (том II, стр. 135). Петр был после этого болен, и маневры возобновились только через три месяца. На этот раз пострадал генерал Гордон: неловкий выстрел повредил ему ногу выше колена, а порохом обожгло лицо так, что он с неделю пролежал в постели. Второй семеновский поход (в октябре 1691 года) также не обошелся без ран и увечья, по словам г. Устрялова; а ближний стольник, князь Иван Дмитриевич Долгорукий, «заплатил даже жизнь за *воинский* танец», по выражению Гордона; жестоко раненный в правую руку, он умер на 9-й день

(Устрялов, том II, стр. 140). Подобные же трагические истории нередко происходили в первое время и на увеселительных фейерверках, которые любил устраивать Петр. Так, при первом фейерверке, сожженном на масленице, 26 февраля 1690 года, – пятифунтовая ракета, не разрядившись в воздухе, упала на голову какого-то дворянина, который тут же испустил дух; в 1691 году, при фейерверке 27 января, взрывом состава изуродовало Гордонова зятя, капитана Страсбурга, обожгло Франца Тиммермана и до смерти убило троих работников (Устрялов, том II, стр. 133).

Такое положение дел вовсе не свидетельствует, по нашему мнению, о том, чтобы Лефорт уже вовсе ничего не оставалось делать для образования Петра в то время, как они познакомились. Довольство такими мастерами и учеными, как Брант и Тиммерман, доказывает, что гениальный отрок не дошел еще в это время до той точки, с которой должны были открыться ему их ограниченность и неспособность. Да и не мог он дойти до этого при той обстановке, в которой находился до низвержения Софии. Вспомним, что и такого че-

ловека, как Тиммерман, с трудом могли отыскать для Петра; вспомним, что первый учитель Петра, Зотов, избранный к нему из подьячих, вероятно, как *лучший* человек, едва мог научить его грамоте и не мог приучить к орфографии, какая тогда была принята; примем в соображение, что и Карштен Брант был выписан в Россию при Алексее Михайловиче для участия в постройке корабля как для такого дела, к которому способных людей у нас в то время не находилось. Весьма естественно поэтому, что Петр, привыкший мерить степень образования и искусства людей по Голицыным и Шакловитым, Зотовым и Стрешневым, с почтительным изумлением смотрел на таких искусников и знатоков, как Брант, Тиммерман и др. Хотя он и чувствовал, может быть, с самого начала, свое умственное превосходство над ними, но вместе с этим он не мог не видеть и того, что они много могут принести ему пользы, могут научить его многому, чего он никогда не узнал бы от окружающих его русских бояр. И он учился – с увлечением, со страстью; новый мир знаний, открывшийся перед ним, поглощал все его

внимание. Мысли его тотчас же обращались к ближайшим практическим применениям того, что им узнано. Он немедленно хотел производить примерные сражения с порохом, и устраивать земляные укрепления по правилам фортификации, и иметь хоть какие-нибудь суда, чтобы плавать хоть по своим озерам. У него не было долгих сборов, подобных тем, с какими приступали, например, к постройке «Орла» при Алексее Михайловиче. Трудно предполагать, чтоб могли у него в это время – время ученья и практических упражнений – являться дальновидные и глубокие государственные предначертания. По всей вероятности, во время знакомства с Лефортом стремления Петра еще не были ясно определены и многое бродило в его душе в виде смутных мечтаний, а не строго обдуманых и сознанных планов. Год предыдущего ученья у Тиммермана и практических занятий под руководством Бранта мог только способствовать полному раскрытию необычайной любознательности отрока, мог пробудить в нем множество вопросов и вместе с тем внушить, что решения этих вопросов нужно ждать от

иноземцев. С таким настроением мог он перейти под влияние Лефорта. Что влияние это было велико, не отвергает и г. Устрялов. Первые учителя Петра исчезают в скором времени из его истории, и он не обращает на них внимания, как скоро находит, кем заменить их; только Зотов играет в его близком кругу довольно комическую роль князя-папы. Лефорт, напротив того, до конца своей жизни остается другом и советником Петра. Назначение его начальником «великого посольства» в 1697 году показывает, до какой степени полагался на него царь.

Таким образом, мы полагаем, что доказательства г. Устрялова против влияния Лефорта на развитие Петра нельзя считать вполне удовлетворительными. Поправка, сделанная им на основании открытых им фактов, касается времени, а не сущности дела. В этом почти соглашается сам г. Устрялов, когда возражает против Перри,^{35} сказавшего, что «Лефорт находился при Петре с 12-летнего возраста царя, беседовал с ним о странах Западной Европы, о тамошнем устройстве войск морских и сухопутных, о торговле, которую

западные народы производят во всем свете посредством мореплавания и обогащаются ею». Приводя это известие Перри, г. Устрялов говорит (том II, стр. 325): «Не спорим, что обо всем этом говорил Лефорт Петру, когда государь удостоил его своею дружбою, но не с 12-летнего возраста, а гораздо после. Сам Перри свидетельствует, что Лефорта узнал Петр только с того времени, когда удалился он в Троицкую лавру, спасаясь от властолюбивой сестры. Но, мало знакомый с историею стрельческих мятежей, он отнес к одному году (1683) и майское кровопролитие 1682 года, и бунт стрельцов после казни Хованского, и заговор Шакловитого, и падение Софии. Все слито в одно происшествие. Компиляторы, не разобрав дела и не вникнув, что Петру при удалении Софии было не 12, а 17 лет, протрубили в потомстве об участии Лефорта в первоначальном образовании Петра». Значит, все дело только в том, с 12 или с 17 лет Петр стал слушать рассказы и советы Лефорта. Для прежних историков это был вопрос крайне трудный: они не могли себе представить, чтобы настоящее, порядочное образование Петра

началось только на семнадцатом году его жизни. Вот, вероятно, и причина, почему они непременно хотели видеть Лефорта при Петре сколько возможно ранее. Но теперь, когда сам же г. Устрялов открыл, на какой степени стояло образование Петра до 1688 года, – теперь ничто не препятствует нам признать «деятельное участие Лефорта в настроении Петра ко всему, что его впоследствии прославило» (Устрялов, том II, стр. 21).

Признавая это участие, мы, впрочем, не даем ему особенно важного значения в истории Петра. Лефорт мог воспалять любознательность Петра, мог возбуждать в нем новые стремления, мог сообщать некоторые понятия, до того неизвестные царю. Но едва ли мог удовлетворить пытливости Петра, едва ли мог всегда разрешать вопросы, рождавшиеся в его уме, едва ли мог сообщить особенную определительность самым его стремлениям. Последнее видно уже и из того, что самая энергическая, постоянная деятельность Петра, во все время жизни Лефорта, посвящена была морскому делу, а Лефорт не только не понимал, но и не любил как морских, так

и вообще всех воинских занятий. При первой осаде Азова ему стало скучно, и он старался как-нибудь поскорее покончить дело, чтобы возвратиться в Москву, к своим обыкновенным удовольствиям. После взятия Азова, когда Петр искал места для гавани и трудился над укреплениями, Лефорт не мог дожидаться его и вперед всех ускакал в Москву, хотя ему, как *адмиралу*, и не мешало бы позаботиться о месте для рождавшегося флота, порученного ему смотрению. Вообще современники Лефорта нехорошо отзываються о его воинских и морских познаниях. Александр Гордон говорит, что «он почти ничего не разумел ни на море, ни на суше, но царская милость все заменяла». Перри также свидетельствует: «Царский любимец Лефорт, который ничего не понимал на море, объявлен был адмиралом». Такие отзывы давали полное право г. Устрялову выразиться о Лефорте, что «удовольствия веселой жизни, дружеская попойка с разгульными друзьями, пиры по несколько дней сряду, с танцами, с музыкой, были для него, кажется, привлекательнее славы ратных подвигов» (том II, 122). «Петр любил

его за беззаботную веселость, пленительную после тяжких трудов, за природную остроту ума, доброе сердце, ловкость, смелость, а более всего за откровенную правдивость и редкое в то время бескорыстие, добродетели великие в глазах монарха, ненавидевшего криводушие и себялюбие. Долго помнил он Лефорта и по смерти его, тоскуя по нем, как по веселом товарище приятельских бесед, незаменимом в искусстве устроить пир на славу».

Но если Лефорт имел достоинства только веселого собеседника, то и другие из первых сотрудников Петра не отличались особенно блестящими талантами. Генерал Гордон, изучивший военное искусство, по словам г. Устрялова, едва ли лучше Лефорта, постоянно, однако, жалуется на бестолковость и небрежность других начальников. Действия их под Азовом даже и ему казались нелепыми; «все шло так беспорядочно и небрежно, – говорит он об осаде Азова, – что мы как будто шутили, вовсе не думая о важности дела» (Устрялов, том II, стр. 238). Действия бояр-правителей и других людей, удостоенных доверенности Петра, при открытии стрелецкого

бунта, во время путешествия Петра за границей, доказали, что администраторы Петра были не лучше военачальников. Между стрельцами разнесся слух о смерти Петра за границей, и правители не знали что делать от испуга. Сам Петр писал по этому случаю к Ромодановскому: «Зело мне печально и досадно на тебя, Для чего ты сего дела в розыск не вступил? Бог тебя судит!

Не так было говорено на загородном дворе в сенях. Для чего и Автамона (Головина) взял, что не для этого? А буде думаете, что мы пропали (для того, что почты задержались), и для того, боясь, и в дело не вступаешь: воистину, скорее бы почты весть была; только, слава богу, ни один не умер, все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий!.. Неколи ничего ожидать с такою трусостью!» В том же роде писал он к Виниусу: «Я было надеялся, что ты станешь всем рассуждать бывалостью своею и от мнения отводить; а ты сам предводитель им в яму! Потому все думают, что коли-де кто бывал, так боится того, то, уже конечно, так» (Устрялов, том III, стр. 439–440). Правда, что на этот раз самые приближенные люди царя на-

ходились с ним в путешествии; но и они были не лучше других. Об этом свидетельствует поведение их во время болезни Петра в 1692 году. Как только болезнь сделалась опасною, любимцы Петра пришли в ужас, уже предвидя владычество Софии и ожидая ссылки и казни; более близкие к Петру лица, Лефорт, князь Борис Алексеевич Голицын, Апраксин, Плещеев, «на всякий случай запаслись лошадьми, в намерении бежать из Москвы» (Устрялов, том II, стр. 144). Очевидно, что все они только и держались Петром, и потому совершенно справедливо заключение, сделанное г. Устряловым после исчисления всех людей, бывших первыми сотрудниками и любимцами Петра:

Такова была любимая компания Петрова, – говорит красноречивый историк, – чудная смесь наций, вер, языков, лет, званий, пестрая толпа людей, не замечательных ни талантами, ни образованием, даже преданности не всегда безукоризненной, и можно ручаться, что все они, за исключением двух-трех, при всяких других обстоятельствах остались бы незаметными для

потомства. Петр озарил их своею славою, как яркое светило бросает лучи на своих спутников, и имена их сияют в скрижалях истории (том II, 129).

Очевидно, что для всякой другой природы общество людей, подобных тем, которые окружали Петра, мало принесло бы пользы. Очевидно, что в самом Петре заключались условия, необходимые для развития и направления той силы, которую умел он выказать впоследствии. В самом деле – во всей истории Петра мы видим, что с каждым годом прибавляется у него масса знаний, опытность и зрелость мысли, расширяется круг зрения, сознательнее проявляется определенная цель действий; но что касается энергии его воли, решимости характера, мы находим их уже почти вполне сложившимися с самого начала его юношеских действий. В неприменном желании посмотреть хоть украдкой, тайно от матери, на Плещеево озеро и потом построить там суда, во что бы то ни стало, хоть какие-нибудь, только бы поскорее, – в этом юношеском стремлении таится та же сила, которая впоследствии выразилась в назначении

кумпанств для сооружения флота в полтора года и потом в целом году неутомимой работы на голландских верфях. Люди не могут так закалить характера человека; это дается от природы и образуется событиями. События и воспитали в Петре природную живость и энергию его натуры; события же до известной степени определили и его отношения к древней Руси, с ее предрассудками, грубостью и невежеством. Положительных фактов, доказывающих это влияние событий на развитие Петра, прежде чем он узнал начала правильного образования, весьма мало. Но стоит всмотреться в характер явлений, окружавших детство и юность Петра, чтоб не сомневаться в силе этого влияния.

На четвертом году Петр лишился отца и с этого времени сделался предметом крамольной ненависти одной из придворных партий. Приверженцы его матери вздумали уговорить Алексея Михайловича, чтобы он назначил своим преемником трехлетнего Петра, обошедши двоих старших сыновей от первого брака. Главою этого замысла был Артамон Сергеевич Матвеев, из дома которого взял

царь свою супругу и который со времени женитьбы царя постоянно находился во вражде с большею частию прочих бояр. Трудно поверить, чтобы Матвеев делал это из бескорыстного и прозорливого желания добра для России, потому будто бы, что, как свидетельствует Таннер, – «Петра считали способнее к правлению, чем Феодора».{36} Угадать эту способность в трехлетнем младенце мудро было бы и для людей более проницательных, чем тогдашние царедворцы. Гораздо вероятнее свидетельство Залусского,{37} что «До совершеннолетия царя Матвеев думал сам управлять государством и, таким образом, действовал в пользу матери, а еще более в свою собственную» (Устрялов, том I, стр. 263).[4]

Замысел его не удался, и Петр невинно понес на себе нелюбовь брата и отчуждение от царствующей семьи и всех ее приверженцев. Оставаясь, по малолетству своему, на попечении дядек (Стрешневых), очень любивших его, и под надзором матери, не любившей отпускать его далеко от себя, даже когда ему было уже 17 лет, – Петр не мог не слышать их жалоб и неудовольствий, не мог не знать их

враждебных отношений к лицам, окружавшим царя. Без всякого сомнения, ни Нарышкины, ни Стрешневы не могли внушить Петру недовольства стариною; но от них слышал он, без сомнения, многое о непригожих делах Милославских, Куракиных, Хитрово и пр. Многие недостатки боярства, которые при других обстоятельствах могли бы пройти незамеченными или даже понравиться царственному отроку, теперь должны были представляться ему в крайне мрачном виде, потому что если не он сам, то близкие к нему терпели от них. Воспоминание о ссылке Матвеева не должно было исчезнуть между Нарышкиными, а при этом воспоминании нередко обращалось, конечно, внимание и на невежество бояр, обвинивших Матвеева в чернокнижии, и на то, как они обманывают добродушного Феодора, и на то, как сами пользуются своими местами, взводя между тем обвинение в лихоимстве на Матвеева, и т. п. Известно, как верно умные дети угадывают отношения, существующие между лицами, их окружающими. Известно и то, как часто они переносят на целый разряд предметов то, что

узнают об одном из них. Не мудрено поэтому, что он с самого начала раскрытия своего сознания стал уже получать не слишком выгодное понятие о существовавшем тогда порядке вещей. Во всяком случае, несомненно то, что он не сблизился, не сроднился с этим порядком, потому что всегда был от него в отчуждении, живя вместе с матерью в Преображенском, далеко от дворских интриг. Уже это одно было для него счастьем и должно было предохранить его от многих заблуждений и дурных привычек, бывших неизбежными при тогдашнем придворном воспитании. Правда, что Петр, как мы видели, ничему не учился; но у него не отбивалась все-таки охота к ученью. У него не было дельных занятий; но детская энергия его не притуплялась и не отбивалась. Мы можем, без всякого сомнения, утверждать, что под надзором матери, воспитанной Матвеевым, эманципированным человеком того времени, – Петр был гораздо менее стеснен и гораздо менее мог набраться всяких предрассудков, нежели среди знатных лиц, окружавших престол его брата.

Мы видели в прошедшей статье, что но-

вые, иноземные начала уже входили в русскую жизнь и до Петра; но тут же мы сказали, что высшее боярство тогдашнее, царские советчики, люди, дававшие направление делам собственно государственным, менее всего увлекались этими началами. Они-то именно, по выражению г. Устрялова, «коснели в старых понятиях, которые переходили из рода в род, из века в век; спесиво и с презрением смотрели на все чужое, иноземное; ненавидели все новое и в каком-то чудном самозабвении воображали, что православный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а святая Русь – первое государство» (Устрялов, том I, «Введение», ХХІХ). Только пред волю царя смирялась их невежественная спесь. Призывал их Алексей Михайлович на комедии смотреть, – и смотрели; оделся Федор Алексеевич в польское платье, – и придворные оделись (см. Берха, «Царствование Федора Алексеевича»);{38} велел местничество уничтожить, – и уничтожили. Но зато, не сдержанные царской волей, они безобразно и дико проявляли свое невежество и спесь. Суеверие господствовало в страшных размерах и

служило нередко орудием жестоких несправедливостей и преступлений. Так, еще при царе Михаиле пострадал Илья Данилович Милославский по обвинению его в том, что он владел каким-то волшебным перстнем, у него отняли имение и самого долго держали под стражею. Подобное же обвинение было употреблено партией Милославских как средство для отвращения Алексея Михайловича от женитьбы на дочери Рафа Всеволожского: невесте, уже выбранной царем, так туго зачесали волосы, что она упала в обморок в присутствии царя, и вследствие того на нее донесли, что она страждет черной немочью, а отца обвинили в колдовстве, за что он со всей семьей и отправлен был в ссылку. Подобным образом Семен Лукьянович Стрешнев, дядя Алексея Михайловича, лишен был боярского сана и сослан в Вологду по обвинению в чародействе. Так и на самого Матвеева доносили, что он чародей и знает тайную силу трав, — тогда еще, как только Алексей Михайлович объявил свое намерение жениться на его воспитаннице (Устрялов, том I, стр. 6). В то время он успел оправдаться; но при Феодоре снова

обвинили его в сношениях с нечистыми духами, по доносу какого-то раба, и допрашивали о лечебнике, писанном цифирью, и о какой-то *черной* книге. Следствием розыска была ссылка в Пустозерский острог! Во время первого стрелецкого бунта доктор фон Гаден схвачен был, как волшебник, потому что у него нашлись сушеные змеи (том I, стр. 39). Василий Васильевич Голицын пытал дворянина Бунакова, который, идя с ним, вдруг упал на землю от болезни, называемой *утихом*, и, по существовавшему поверью, взял в платок земли с того места, где он упал. Голицын, испугавшись, бил челом в Земский приказ, что Бунаков «*вымал у него след*»; Бунакова пытали (см. Желябужского в издании Сахарова, стр. 22).{39} Тот же самый Голицын, увидав благосклонность Софии к Шакловитому, призвал одного из своих крестьян, слывшего знахарем, и брал у него корни, которые и клал «*для прилюбления*» в кушанье царевны; а потом, чтобы не было проносу от колдуна, Голицын велел его сжечь в бане (Устрялов, том II, стр. 48). Сама София верила волхвам и прорицателям и советовалась с ними, всего

чаще через посредство Сильвестра Медведева, который также в них веровал. Так, между прочим, доверялись они одному польскому пройдохе, Митьке Силину, который и князя Голицына пользовал и нашел в нем одну болезнь: «что он любит чужбину, а жены своей не любит». Так точно, уже при падении Софии, Медведев советовался с волхвом Васильем Иконниковым, который уверял, что «самим сатаною владеет» и что если царевна даст ему 5000 червонцев, то все будет по-прежнему (Устрялов, том II, стр. 68). Старшие сестры Петра все, по свидетельству историка, постоянно были окружены ханжами и юродивыми; первая супруга его, Евдокия, также выказывала большую «наклонность к видениям и пророчествам» (том II, стр. 119). Даже бояре, приверженные к Петру, не возвышались над предрассудками своего времени, как видно из приводимого г. Устряловым (том II, стр. 347–350) розыскного дела о стольнике Безобразове 1689 года. Безобразов этот, «старичишка дряхлый, увечный, почти оглохший и ослепший» (по его словам в челобитной), отправлен был, после 47-летней службы, воево-

дою в крепость Терки. Доехав до Нижнего, он послал челобитную к царям о дозволении ему возвратиться в Москву или хоть остаться в Казани. Крепостные люди его, Персидский и Иванов, обокрали старика, бежали от него и явились в Москву с изветом, что Безобразов – 1) имел сношения с Шакловитым, 2) на пути к Нижнему и в Нижнем призывал к себе разных ворожей и ведунов, из которых один «накупился напустить по ветру тоску на царя Петра и мать его, чтобы они сделались к Безобразову добры и воротили его в Москву». Как ни важно было тогда первое обстоятельство – знакомство с Шакловитым, но волшебство более испугало бояр, и в розыскном деле все внимание следователей обращено именно на этот пункт. Захватили несколько ведунов, оговоренных доносчиками, допрашивали их под пытку, равно как и самого Безобразова, вынудили, разумеется, признание и приговорили: Безобразову отсечь голову, жену его сослать по смерти в тихвинский Введенский монастырь, двух главных ведунов – Коновалова и Бобыля – сжечь в срубе, прочих ведунов нещадно бить кнутом на козле... Но и этим

следователи не были успокоены: около двух лет после того производились розыски в Коломне, Касимове, Переяславле-Рязанском и Нижнем Новгороде. Один ведун оговаривал другого, другой третьего. Воеводам предписано: расспрашивать «про все накрепко; а буде учнут запираяться, пытатъ». «Воеводские розыски были ужасны, – прибавляет г. Устрялов (том II, стр. 350), – сысканные ведуны и ворожеи *подыманы* были при допросах по несколько раз *со встряскою*. Некоторые из оговоренных винулись в ворожбе на бобах, на воде, на деньгах; другие, при всех истязаниях, ни в чем не сознавались и умирали под пытку или в тюрьме, до разрешения дела». Подобным же усердием отличились бояре, когда пришлось им разбирать лжепророчество бродяги Кульмана, появившегося в Москве в последнее время правления Софии. Толкуя всякий вздор, проповедуя о каких-то видениях, бывших ему, сочиняя свой особенный религиозный кодекс, Ruhl-Psalter, как он назвал, этот полоумный немец имел, однако же, столько смысла, чтобы сказать при допросе: «Меня послал в Москву дух для проповедания

моих видений; если же вы не хотите меня слушать, то позвольте мне удалиться». Но бояре не поддались на такое убеждение; они распорядились проще: «Еретика Кульмана, с его богомерзкими книгами, за прелестное учение сжечь всенародно». И сожгли... (Устрялов, том II, стр. 113). Таким образом, все, что мог встретить Петр около своего брата и вообще при дворе, погружено было тогда в грубейшее суеверие, нисколько не возвышаясь в этом случае над простонародьем. Чтобы не приводить частных примеров и показать, до какой степени волшебство и чернокнижие вошло в древней Руси в ряд обычных, юридически определенных преступлений, — укажем на *повальное* свидетельство Кошихина: «А бывают мужескому полу смертные и всякие казни: головы отсекают топором за убийства смертные и за иные злые дела, вешают за убийства ж и за иные злые дела, жгут живого за богохульство, за церковную татьбу, за содомское дело, за *волховство*, за *чернокнижество*, за книжное преложение, кто учнет вновь толковать воровски против апостолов и пророков и св. отцов. А смертные

казни женскому полу бывают: за богохульство а за церковную татьбу, за содомское дело жгут живых, за *чаровство* и за убийство отсекают головы» – и пр. (Кошихин, гл. VII, стр. 33). Таковы были понятия о высших силах у тех людей, от которых так счастливо удален был Петр во время своего детства.

Не лучше были и общие нравственные понятия, О заслугах, о личном достоинстве никто и не думал; гордились только знатностью рода, местническими счетами. Несмотря на неоднократные указы, что за местничество быть «в наказанье, разоренье и ссылке, без всякого милосердия и пощады», – счета порою не только не переставали, но доходили до страшных размеров, все более теряя и тот смысл, какой был в них прежде, и все более привязываясь к мелочам и внешности. Доходило до того, что один боярин бил челом на другого за то, что тот за столом «смотрел на него зверообразно». Даже после сожжения разрядных списков прежняя спесь еще долго оставалась в боярах. Так, перед первым крымским походом царедворцы пришли в негодование, когда Голицын распределил их по ро-

там, так что стольникам пришлось писаться ниже стряпчих и жильцов. Во главе недовольных были тогда: князь Борис Долгорукий, князь Юрий Щербатый, Дмитриев и Масальский. В ознаменование своего неудовольствия они явились на смотр в траурных одеждах, на конях под черными попонами, – что суеверный Голицын принял даже за злое пророчество (Устрялов, том I, стр. 196). Мало того, при самом Петре, в первые годы его правления, известны *родовые* перебранки самых приближенных к нему людей. Так, в 1691 году, по известию Желябужского, князь Яков Феодорович Долгорукий во дворце побранился с князем Борисом Алексеевичем Голицыным; «называл он Голицына изменничьим *правнуком*, что при *Расстриге прадед* его в яузских воротах был проповедником». В 1693 году в доме боярина П. В. Шереметьева поссорились князь М. Г. Ромодановский и боярин А. С. Шеин при многочисленном собрании бояр. Ромодановский бесчестил Шеина всячески, бил, даже хотел резать ножом, называя прадеда его (Михаила Борисовича Шеина) изменником, а его изменничьим *внуком*.

Шейн, с своей стороны, по жалобе Ромодановского, называл его *малопородным* и худым князишком, отца же его, Григорья Григорьевича, – неслугою... (Устрялов, том II, стр. 346). Видно, что местничество не умерло в сердцах боярских с уничтожением разрядных списков. К счастью, Петр удален был в детстве своим от этой родословной спеси. Нарышкины были люди не родословные и, по всей вероятности, при Феодоре и при владычестве Софии не слишком были уважаемы высшим боярством. Значит, Петр не только не мог напитаться ядом этой тлетворной атмосферы, но даже должен был получить к ней отвращение. Всякое проявление высокомерия и дерзости боярской, начиная от колких выходок царской няньки, злобной боярыни Хитрово, до посягательств Шакловитого, говорившего, что нечего смотреть на Наталью Кирилловну: «она прежде ничем была, в лаптях ходила», – всякое подобное проявление, сделавшись известным Петру, должно было возбуждать в нем горькие чувства и тяжелые мысли. А, конечно, очень многое не могло скраться от него, да, вероятно, и не старались скрывать. В

нем партия Нарышкиных видела свою надежду, свое торжество, и потому незачем было ей щадить перед ним врагов своих. Часто находясь вместе с матерью, он мог слышать многое, что передавалось ей в разговорах и что она сама говорила. Весьма естественно развилось в нем чувство отвращения к спеси и чванству старинных бояр, и здравые понятия о достоинстве заслуг и трудов, столь простые и близкие человеку, не исказившему природного смысла, — очень легко, конечно, могли овладеть его умом. В своей последующей деятельности он постоянно доказывал, что не дорожит *породою*, возвышая и приближая к себе людей всех званий.

Это недостаточно: Петр, выросши на свободе и привыкши запросто обращаться с своими сверстниками, и сам не мог слишком дорожить той величавой торжественностью, с которой являлись обыкновенно народу его предшественники. Даже Феодор не отступал в этом случае от древнего обычая. Таннер рассказывает как очевидец, что когда Феодор Алексеевич ездил куда-нибудь, то впереди кареты бежали два скорохода, крича встречным

в городе, чтобы они прятались, а на поле или в другом месте, где спрятаться было негде, — чтобы падали на землю... (см. Берха, «Царствование Феодора Алексеевича», ч. I, стр. 63). Петр, как мы знаем, держал себя совершенно просто со всеми и не только запросто показывался народу, но готов был рассуждать о чем угодно со всяким матросом, плотником, кузнецом. Не легко было бы ему привыкнуть к этому, если бы он прошел всю мудреную школу тогдашнего дворского этикета, приличного тогдашнему царевичу. Но живая натура не поддавалась этому этикету с самого начала, обстоятельства доставили ему возможность вырасти на свободе, а знакомство с немцами довершило торжество его стремлений над старинною рутиной придворных обычаев и боярской неподвижности.[5]

Самые удовольствия, бывшие при дворе предшественников Петра, не успели привиться к нему. Он не любил соколиной охоты, не любил проводить целые дни, забавляясь шутами и дураками. Между тем царь Алексей Михайлович сам сочинил «Урядник», в котором изложил чин охоты; охота была при нем

делом высокой важности, делом государственным. При нем посылали особых, нарочитых людей для сокольей и кречетьей ловли даже до Тобольска.^{40} Столь важное значение имела в то время охота! Но Петр не имел к ней пристрастия, точно так же как и к музыке, которая тоже введена была при дворе Алексея Михайловича. Он признался в этом курфирстине ганноверской, с которой виделся в Коппенбурге во время своего путешествия, в 1697 году. «Я более всего люблю плавать по морям, спускать фейерверки, строить корабли», – сказал он и дал принцессе пощупать свои руки, загрубевшие от работы (Устрялов, том III, стр. 58).

Шутов Петр еще держал при себе, но при нем они играли уже не ту роль, что прежде: они резали бороды приближенным боярам да подсмеивались над стариной. Прежние шуты, напротив, служили почти всегда праздною потехою, и «царское жалованье» к ним было сообразно с этим их назначением. В сочинении Берха о царствовании Феодора Алексеевича помещены два указа о певаче Григорье и о дураке Тарасе (Приложения XIII и XIV);

в одном говорится: «Великий государь-царь и Великий князь Феодор Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белья России Самодержец, указал – спеваке Григорью Воробьеву сделать рукавицы суконные, кармазиновые». В другом, с такими же величаниями, заключается приказ о том, чтобы сшить дураку Тарасу кафтан суконный; и мерка его определена подробно... Впрочем, иногда шуты получали «жалованье» и побольше: так, при царе Алексее Михайловиче шуту чердынцу Бухонину пожалован был *Печерский волок*... Потеха шутами и дураками не нужна была Петру уже и потому, что он нашел возможность лучшего веселья, открывши свободный вход в общество женщине. Запертая в своем тереме, не видя света, не зная никаких развлечений, русская девушка, под родительским надзором, и потом женщина, под властью мужа, не могла не роптать на свою грустную участь. Свидетельство этого слышится в наших народных песнях. Но более всех испытывали всё горе затворничества дочери царя. Об их положении очень хорошо говорит Кошихин в 25 статье первой главы своей книги. Но его

выражения могут показаться не совсем изящными для тонкого вкуса современных читателей, и потому мы приведем его замечания не в подлиннике, а в изящном и красноречивом перифразе, какой сделал из них г. Устрялов (том I, стр. 25):

Никакой монастырь ее мог быть скромнее и благочестивее царских теремов, где в глубоком уединении, частью в молитве и посте, частью в занятиях рукоделием и в невинных забавах с санными девушками, проводили дни благоверные царевны, дочери Михаила и Алексея. Никогда посторонний взор не проникал в их хоромы; только патриарх и ближние сродники царицы могли иметь к ним доступ. Самые врачи приглашались разве в случае тяжкого недуга и не должны видеть лица больной царевны. В церковь они выходили скрытыми переходами и становились в таком месте, где были никем не зримы. Если же отправлялись во святые обители вне дворца для молитвы или в окрестные дворцовые села, что случалось, впрочем, редко, то выезжали в колымагах и рыдванах,

отвсюду закрытых, с завешенными тафтою стеклами. Не было при дворе ни одного праздника или торжества, на которое являлись бы царевны. Только погребение отца или матери вызывало их из терема: они шли за гробом в непроницаемых покрывалах. Народ знал их единственно по имени, возглашаемому в церквах при многолетию царскому дому, также по щедрым милостыням, которые они приказывали раздавать нищим. Ни одна из них не испытала радостей любви, и все они умирали безбрачными, большею частью в летах преклонных. Выходить царевнам за подданных запрещал обычай; выдавать их за принцев иноземных мешали многие обстоятельства, [6] в особенности различие вероисповедания.

Подобную жизнь вели вообще девушки в древней Руси, исключая, разумеется, того обстоятельства, что для них предстояло впереди замужество. Но и в замужестве затворничество не прекращалось, и в кругу мужчин могли быть только женщины, уже отверженные от общества, о существовании которых в

древней Руси, совершенно независимо от Немецкой слободы, рассказывает Таннер. Он говорит, что видел «на рынке, в Китае-городе, многие женщин, которые были нарумянены, набелены и держали во рту бирюзовые перстни. На вопрос, что это значит, отвечали мне, что женщины эти торгуют своими прелестями» (см. у Берха, «Царствование Феодора Алексеевича», стр. 68). Очевидно, что этот разряд женщин еще более унижал положение женщины в древней Руси и судьба ее вообще была невесела.

Нет сомнения, что и Петр, воспитывавшийся долго на женских руках, слышал грустные жалобы своей матери и сестер; а пример Софии должен был доказать ему, какие странные и грустные явления возможны, когда развитие и жизнь женщины принуждены идти неестественным путем. Если в Петре, до знакомства с жизнью иноземцев в Немецкой слободе, и не было мысли об изменении общественного положения женщины в России, — то по крайней мере в нем не могла развиться и особенная любовь к ее заключенному, *тюремному* положению в древней Руси.

Небезызвестны, конечно, были Петру, еще отроку, и другие общественные отношения, не проявлявшиеся, может быть, прямо при дворе, но тем не менее дававшие всему управлению какой-то особенный отпечаток нестройности, неурядицы, ненадежности. Военные действия, например, производились около этого времени далеко от Москвы, в краях пограничных; тем не менее до правительства доходили известия о *непорядках* в войске, и непорядки эти гласно и всенародно выставлялись на вид при начале каждого нового похода. В 1677 году, созывая воинов и посылая их в поход, Феодор Алексеевич писал: «Ведомо нам учинилось, что из вас многие сами, и люди ваши, идучи дорогою, в селах, и деревнях, и на полях, и на сенокосах уездных людей били и грабили, и что кому надобно, то у них отнималось безденежно, и во многих местах луга лошадьми вытомчили и хлеб потравили». После исчисления всяких обид, чинимых жителям от ратных людей, дается им совет впредь того не делать, под страхом наказания (см. Берха, «Царствование Феодора Алексеевича», приложение XIX). Подобный

же указ дан был и пред первым крымским походом. Кроме того, важною статьей в старинных походах русских были *нетчики*: в первом крымском походе, в стотысячном войске Голицына, их оказалось более 1300. Многие являлись на смотр, но потом отставали на походе. Так, в полку Гордона на смотре

Бутырском было 894 человека; а в Ахтырку пришло только 789 (Устрялов, том I, стр. 195). Даже не имея никаких положительных свидетельств, можно сообразить, что Петру не могло быть неизвестным подобное положение дел и что оно не могло ему нравиться. Это мы должны предположить уже и потому, что с десяти лет Петр, вместе с Иоанном, величался царем всея Руси; он принимал послов, именем его писались указы, на его имя подавались челобитные и донесения. Если он не интересовался сам по себе этими делами, то его мать, родственники и приверженцы должны были стараться обратить на них его внимание. Но, кроме этого весьма естественного соображения, на то, что Петру отчасти известны были текущие дела, указывают некоторые сохранившиеся свидетельства. С 1686 года, то

есть с четырнадцатилетнего возраста, Петр внушает уже страх Софии, и она старается по возможности преследовать даже тех, на которых обращалась его благосклонность. Вообще – Петр был центром, около которого сосредоточивалась борьба двух партий. Приверженцы Софии смотрели на него как на главную помеху в их действиях, противники царицы возлагали на него все свои надежды. Кроме родственников царицы, в числе первых явных приверженцев Петра замечательны князь Михаил Алегукович Черкасский и князь Борис Алексеевич Голицын. На них также обращено было внимание врагов Петра. Князь Василий Васильевич Голицын особенно боялся князя Черкасского, который не боялся открыто порицать не только его, но и Софию. Во время первого крымского похода Голицын неоднократно писал к Шакловитому, с беспокойством осведомляясь, что этот «приятель о нем глаголет». В одном письме он умоляет Шакловитого смотреть за Черкасским «недреманным оком», «отбивать его хотя б патриархом, или царевною Анной Михайловной, или Татьяной Михайловной». В

другом письме он спрашивает: «Пожалуй, отпиши, нет ли каких дьявольских препон *от тех?*» (Устрялов, том I, стр. 341). По всей вероятности, под *теми* разумеется опять партия Петра.

С своей стороны, приверженцы Петра также следили за людьми и старались отыскивать и представлять Петру людей надежных и им благоприятных. Что представления Петру разных лиц были делом обыкновенным и что за ними зорко следили приверженцы обеих партий, видно из следующей выписки из письма Шакловитого к Голицыну во время первого крымского похода: «Сего ж числа, после часов, были у государя у руки новгородцы, которые едут на службу; и как их изволил жаловать государь царь Петр Алексеевич, в то время, подступя, нарочно встав с лавки, Черкасский объявил тихим голосом князь Василья Путятина: прикажи, государь мой, в полку присмотреть, каков он там будет?» (Устрялов, том I, приложение VII, стр. 356). Из этого видно, что официальные представления государю совершались в то время пред Петром, но частный доступ к нему для

лиц посторонних был, вероятно, не совсем удобен. Иначе незачем было бы князю Черкасскому, при торжественном отпуске, *тихим голосом* рекомендовать ему Путятину. Князь мог, конечно, знать, что такая рекомендация обратит на Путятину неприязненное внимание противной партии, и постарался бы, конечно, частным образом представить его Петру. Но София, как видно, боялась расширения круга Петровых приверженцев и всячески затрудняла доступ к нему. Это, между прочим, доказывается показанием стольника Григорья Языкова (в розыском деле о Шакловитом). Языков этот как-то выразил неудовольствие, что «государское имя царя Петра Алексеевича видим, а бить челом ему ни о чем не смеем». За это Шакловитый подверг Языкова жестокой пытке и потом выслал из Москвы с строжайшим указом, под смертною казнию, никому не говорить, куда его приводили и о чем спрашивали... Подобным образом пытал Шакловитый татарина Обрайма Долокодзина, спрашивая, для чего бывал он у Кирилла Полуэктовича Нарышкина и у князя Бориса Алексеевича Голи-

цына (Устрялов, том II, стр. 38). Видно, что опасно было приближаться даже к любимцам Петра во время владычества Софии!

Очевидно, однако ж, что нельзя было усмотреть за всеми, и, преследуя всех подозреваемых в приверженности к Петру, София только еще более ожесточала противную партию, которая очень откровенно и свободно, в присутствии Петра, выказывала в Преображенском свою неприязнь к правительнице и ее партии. Еще в апреле 1686 года, когда Петру не было и четырнадцати лет и София «учала писаться, вместе с братьями, самодержицею», Наталья Кирилловна с негодованием говорила теткам и старшим сестрам Софии: «Для чего учала она писаться с великими государями обще? У нас люди есть и того дела не покинут». Петру, без сомнения, объяснено было тогда же это обстоятельство, хотя возможность гласно протестовать против него представилась только через три года. В 1689 году Петр писал к брату из Троицкой лавры: «Как сестра наша царевна София Алексеевна государством нашим учала владеть своею волею, и в том владении, что явилось особам

нашим противное, и народу тягость, и *нагие терпение*, о том тебе, государь, известно... А теперь, государь братец, настает время нашим обоим особам богом врученное нам царствие править самим, понеже пришли есми в меру возраста своего,[7] а третьему зазорному лицу, сестре нашей (царевна София Алексеевна) с нашими двумя мужескими особами в титулах и в расправе дел быти не изволяем; на то б и твоя б, государя моего брата, воля склонилася, потому что стала она в дела вступать и в титулах писаться собою без нашего изволения» (Устрялов, том II, 78). Петр упоминает здесь о своем *терпениц*, конечно, не без основания. Ясно, что он давно уже смотрел с горьким чувством на самовластие сестры. Вообще в Преображенском против нее говорилось много дурного. Из розыскного дела о Шакловитом оказалось, что постельницы Натальи Кирилловны переносили Софии враждебные речи царицы и ее братьев. Они извещали Софию, что в «комнате их говорят про нее непристойные и бранные слова и здравия ей не желают, а пуще всех Лев Нарышкин и князь Борис». Шакловитый, утешая при этом

Софию, говорил ей: «Чем тебе, государыня, не быть, лучше царицу известь». То же говорил и Василий Голицын: «Для чего и прежде, – сказал он, – не уходили ее, вместе с братьями? Ничего бы теперь не было». Может быть, что и эти речи обратно переносимы были кем-нибудь к Нарышкиным и еще более воспламеняли их ненависть. Все это Петр должен был терпеть, и в этом терпении более и более закалялся его энергический, неутомимый характер. Характер этот проявился, уже почти вполне сложившимся, вскоре после первого крымского похода, в ссоре с Софией. После второго же похода произошел решительный разрыв, показавший, что Петр лучше, может быть, чем сама София, знал и понимал весь ход крымских походов и уже решился ясно и открыто определить свои отношения – как к сестре, так и к вельможам – любимцам ее, Голицыну и Шакловитому. С этого времени могучая воля Петра является главным двигателем последующих происшествий.

Но важнейшее событие Петровой юности, несколько раз отзывавшееся ему и впоследствии и имевшее, без сомнения, самое силь-

ное влияние на развитие его характера, было восстание стрельцов. Нам нет надобности рассказывать здесь это кровавое событие, столько десятков раз уже рассказанное в разных историях, служившее предметом стольких рассуждений и соображений и, наконец, сделавшееся так общеизвестным. Мы упомянем только о некоторых чертах его, которые, по нашему мнению, должны были служить к развитию некоторых сторон характера Петра.

Известно, что царица Софья похвалила и наградила стрельцов за их буйства, которые она назвала *побиением за дом пресвятыя богородицы*. Понятно, какое впечатление должно было это произвести на Петра. Правда, «мы не знаем, – как говорит г. Устрялов, – с какими чувствами смотрел Петр на страшное зрелище, на гибель дядей, на слезы и отчаяние матери, на преступные действия сестры, готовой все принести в жертву своему властолюбию» (Устрялов, том I, стр. 45). Но зато мы знаем, как смотрела на все событие партия приверженцев Петровых по миновании первого страха. Конечно, Петру были сообщены те же воззрения, которые хотя и были, конеч-

но, односторонни и пристрастны, но не могли не быть им приняты, потому что согласны были с его собственными, личными впечатлениями. Мы имеем, между прочим, два описания первого стрелецкого мятежа, весьма резко отличающиеся между собою. Одно составлено Матвеевым, которого отец убит был стрельцами, другое – Медведевым, {41} сторонником Софии. Параллельно сличать их рассказ чрезвычайно любопытно. Оба они стрельцов не оправдывают. Но во взгляде на причины, породившие событие, оба автора далеко расходятся, и историку нужно много проницательности и беспристрастия, чтобы из их противоречащих показаний вывести заключение безукоризненно верное. К сожалению, изложение этого события в сочинении г. Устрялова не вполне удовлетворило нас. Он слишком много дал весу сказаниям Матвеева и мало обратил внимания на Медведева, который уже и потому заслуживает особенного внимания, что подробно и обстоятельно рассказывает о начале дела, изложенном у Матвеева очень кратко и неопределительно. При том же сказания Медведева о причинах бунта

совершенно согласны с донесением датского резидента, Бутенанта фон Розенбуша, напечатанным у г. Устрялова в VI приложении к первому тому «Истории Петра» (стр. 330–346). Матвеев, как и вся партия, противная Софии, видит в бунте стрельцов не более как интригу Ивана Михайловича Милославского, которого он поэтому и называет *скорпионом*, заразившим ядом своим все войско стрелецкое. В этом же роде рассказывает и г. Устрялов, представляя, разумеется, Милославского орудием Софии (том I, стр. 28–31). «София, – говорит он, – хотела вырвать кормило правления из рук ненавистой мачехи. В замысле своем она открылась Милославскому, который указал ей на стрельцов и дал совет возмутить их. Решено было разгласить в стрелецких слободах разные клеветы на Нарышкиных и тем подвигнуть их к бунту. Так и сделали: в стрелецких слободах молва сменялась молвою, одна другой зловещее. Наконец разнесся слух, что Нарышкины задушили царевича. Мятеж вспыхнул». В таком виде представляется дело стрельцов современному историку, который мало придает значения предыдущим обсто-

ательствам. Тем естественнее было партии, сделавшейся жертвою кровавого восстания, не видеть в нем ничего, кроме интриг Софии и ее приверженцев. В стрельцах все близкие к Петру видели своих личных врагов, видели злодеев, готовых на все по первому слову враждебной им партии. То же чувство успело запасть и в душу Петра, и оно, может быть, вызвало его на потешные игры, сделавшиеся началом образования у нас регулярного войска. Чувство это выразалось потом в недоверии к стрельцам, в рассылке их из Москвы на границы и в отдаленные города и, наконец, в ужасном стрелецком розыске 1698 года. Ничто не могло изменить мнения Петра о стрельцах, ничто не могло уничтожить в нем убеждение, что это опасные крамольники, своевольные злодеи, готовые всякую минуту поднять знамя бунта. Много лет спустя, готовясь уже уничтожить стрельцов (в 1698 году), Петр вспоминал, что это все – «семя Ивана Михайловича (Милославского) растет» (Устрялов, том III, стр. 145): так сильны в нем были впечатления детских лет, так глубоко хоронилось в душе его убеждение, что виною

всего была крамола Милославского!

Но события, следовавшие за первым стрелецким бунтом, до 1698 года, должны были показать Петру, что крамола Милославского была только случайным обстоятельством, которое пришлось стрельцам очень кстати и без которого, однако ж, они поступили бы точно так же. Само собою разумеется, что от этого открытия не могло и не должно было исчезнуть в Петре чувство отвращения к стрелецкой крамоле. Тем не менее при разъяснении дела не могло не возникнуть в душе Петра другое чувство, более широкое и сильное: это – отвращение от всего порядка дел, производившего такие явления, как мятеж стрелецкий. Что мятеж этот не был просто произведением Софии и Милославского, а зародился гораздо ранее, вследствие обстоятельств совершенно другого рода, в этом Петр не мог не убедиться последующими событиями и розысками, в разное время произведенными о стрельцах. Из розысков этих, равно как из правительственных актов того времени и из описания Медведева, оказывается следующее.

Стрельцы составляли лучшее московское войско в продолжение целого столетия. Со времен Бориса Годунова их подвиги беспрестанно упоминаются в описаниях дел ратных. Мало того – во все предыдущее время они отличались непоколебимой верностью престолу и отвращением от всяких своевольных действий. Г-н Устрялов говорит о них: «Среди смут и неурядиц XVII века московские стрельцы содействовали правительству к восстановлению порядка: они смирили бунтующую чернь в селе Коломенском, подавили мятеж войска на берегах Семи и вместе с другими ратными людьми нанесли решительное поражение Разину под Симбирском; а два полка московских стрельцов, бывшие в Астрахани, при разгроме ее злодеем, хотели лучше погибнуть, чем пристать к его сообщникам, и погибли» (том I, стр. 21). Такая верность, доходившая до самоотвержения, была необходимою и естественною отплатою со стороны стрельцов за те преимущества и привилегии, какими они постоянно пользовались. Им давалось от казны оружие и одежда, тогда как помещные владельцы с своими

людьми должны были снаряжаться в поход на собственном иждивении. Кроме того, стрельцам производилось от казны жалованье. Сверх этого – им дозволялось заниматься торговлею и различными промыслами, причем они также освобождены были от некоторых повинностей. Суду они подлежали только в своем приказе, исключая случаев воровства и разбоя. Заметим при этом, что стрельцы в конце XVII века были большею частию дети стрельцов же; следовательно, права и привилегии их имели уже в это время вид как бы наследственный. Из посторонних людей поступали в стрельцы люди вольные, по своей охоте, и за каждого охотника обыкновенно ручался какой-нибудь старый стрелец. Ясно из этого, что стрельцы должны были дорожить своей службой и всеми силами стоять за тот порядок вещей, при котором они могли пользоваться такими удобствами. Точно также очевидно и то, что с расстройством этого порядка постепенно должна была расстраиваться и верность стрельцов. До них дошло дело позже, чем до других, но дошло наконец и до них; тогда они и восстали. Г-н Устрялов,

кажется, сам признает это, хотя и не проводит последовательно в своем изложении первого стрелецкого бунта. Мы видели выше, что он слишком много приписывает Софии и Милославскому; тем не менее, за несколько страниц раньше, он делает следующие, большею частью вполне справедливые, замечания:

Первою, главною виною зла было всеобщее расслабление гражданского порядка, обнаружившееся с половины XVII века неоднократно бунтами. Невзирая на всю заботливость государей из дома Романовых утвердить и обеспечить права и преимущества подданных силою закона, во всех частях тогдашнего управления свирепствовала общая зараза – бессовестное корыстолюбие. Народ постоянно роптал на лихоимство, неправосудие и жестокосердие лиц, облеченных властью. Самые ближние царские советники не избегли нареканий. Общие жалобы и сетования в особенности усилились в царствование Феодора Алексеевича. В Москве только и говорили о неправдах и обидах. Стрельцы роптали громче других. Издавна дарованное им право

торговли, с значительными преимуществами пред людьми посадскими, поставило их в положение, несообразное с званием воинов, и повлекло за собою неминуемое расслабление воинского порядка: пустившись в промыслы, которыми приобретали значительные богатства, они думали только о корысти, нерадиво исполняли свои прямые обязанности, тяготились службою и самые справедливые меры строгости считали жестоким для себя притеснением. Тем нестерпимее было для них наглое насилие, явное корыстолюбие, которое, по всей вероятности (!), и им не давало пощады (том I, стр. 21–22).

Факты, рассказанные самим г. Устряловым, не позволяют сомневаться, что стрельцы не *по всей вероятности*, а действительно терпели от насилия и корыстолюбия тогдашних правителей. Сначала стрельцы только роптали на обиды, им причиняемые; потом ропот их принял характер жалобы и угрозы. Еще при царе Феодоре, незадолго до его кончины (в апреле 1682 года), стрельцы одного полка били челом на своего полковника Се-

мена Грибоедова «в несправедливом порабощении и немилостивом мучительстве». Главные обвинения были те, что Грибоедов не доплачивал стрельцам жалованья и заставлял их строить для него загородный дом, не увольняя от работы даже на светлую неделю. Челобитную эту принял дьяк Павел Языков и велел принесшему ее стрельцу прийти за ответом на другой день. Представляя эту жалобу князю Долгорукому, управлявшему тогда Стрелецким приказом, Языков сказал, что челобитная принесена пьяным стрельцом, который притом бранился и грозил. Долгорукий велел высечь стрельца кнутом, «чтобы другим неповадно было и чтобы впредь были всегда полковникам от того страха в покорении тяжком», по замечанию Медведева. «О неразумного и бедственного совета, – прибавляет этот писатель, – яко неправедным паче хоцут народ удержати страхом, нежели праведною любовию!» (Медведев, У Туманского, VI, 54). К этому г. Устрялов, основываясь на «реляции» датского резидента, прибавляет следующие подробности. Стрельца, принесшего просьбу, действительно взяли, отвели

к съезжей избе и там, в толпе собравшихся стрельцов, объявили приговор, и приказные служители готовились тут же исполнить его. Стрелец закричал толпе: «Просьбу я подавал с вашего согласия; зачем же вы допускаете ругаться надо мною?» Воззвание имело свое действие: стрельцы отняли своего товарища, причем побили приказных служителей и добирались до самого дьяка, который успел, однако, ускакать. На другой день во всех стрелецких полках обнаружилось сильное волнение. От 16 полков (всех было тогда в Москве 19) написали челобитные одного содержания и хотели подать их самому Феодору. Но в это самое время Феодор умер (27 апреля 1682 года).

Известно, что стрельцы нимало не препятствовали наречению Петра царем, не обнаружили никаких враждебных расположений к новому правительству и беспрекословно присягнули вместе с другими. Ясно, что они ничего более не замыслили, как только отыскать в высшем правосудии защиту против своих полковников. На третий день по воцарении Петра к его дворцу пришла толпа стрельцов с

тою же челобитного, которую хотели подать Феодору Алексеевичу. В челобитной было длинное исчисление обид, причиненных стрельцам полковниками и даже низшими начальниками. «Они, – говорилось в челобитной, – стрельцам налоги, и обиды, и всякие тесности чинили, и приметывались к ним для взятков своих, и для работы, и били жестокими побоями, и на их стрелецких землях построили загородные огороды, и всякие овощи и семена на тех огородах покупать им велели на сборные деньги; и для строения и работы на те свои загородные огороды их и детей их посылали работать; и мельницы делать, и лес чистить, и сено косить, и дров сечь, и к Москве на их стрелецких подводах возить заставляли... и для тех своих работ велели им покупать лошадей неволею, бив батоги; и кафтаны цветные с золотыми нашивками, и шапки бархатные, и сапоги желтые неволею же делать им велели. А из государственного жалованья вычитали у них многие деньги и хлеб, и с стенных и прибылых караулов по 40 и по 50 человек спускали и имали за то с человека по 4 и по 5 алтын, и по 2 грив-

ны, и больше, а с недельных по 10 алтын, и по 4 гривны, и по полтине; жалованье же, какое на те караулы шло, себе брали; а к себе на двор, кроме денщиков, многих брали в караул и работу работать». Все это стрельцы хотели *доправить* и для того представили при челобитной даже счет недоплаченного жалованья. Кроме того, стрельцы требовали, чтобы полковники были отставлены и выданы им головою для правежа. Положение нового правительства в этом случае едва ли было слишком затруднительно. Челобитная была написана обдуманно и спокойно; стрельцы обращались к правительству с полным доверием, требуя только правосудия; фактов в челобитной было представлено так много и выставлены они были так определительно, что разыскать их было нетрудно. Правительство Нарышкиных могло в это время удовлетворить справедливым требованиям стрельцов, не роняя своего достоинства, не выказывая своей слабости. Но оно не сумело поддержать себя. Испуганное криками некоторых стрельцов, что в случае отказа они пойдут и сами перебьют своих полковников, – правительство со-

гласилось на требования челобитчиков, не предоставивши себе даже права исследовать дело. Но, делая это пожертвование, не умели и его сделать вполне: не выдали полковников стрельцам в слободы на полную волю, как те требовали, а приняли дело расправы с полковниками на себя. Патриарх и другие духовные лица уговорили стрельцов сделать эту уступку, стрельцы согласились: видно, что доверие к новому правительству еще не было потеряно. Но и этим благоприятным обстоятельством не умели воспользоваться: вместо того чтобы положить меру наказания каждому полковнику по делам его, сообразившись предварительно с требованиями стрельцов, – им самим позволили распоряжаться при правее. В течение восьми дней полковников били батогами ежедневно часа по два, до уплаты предъявленных на них счетов. С иных взыскано было до 2000 рублей или червонных. «Все делалось именем правительства, – замечает очевидец (датский резидент), – но волею стрельцов: они толпились на площади, пред приказом, и распоряжались как судьи; правей прекращался только тогда,

когда они кричали: «Довольно!» Иные полковники, на которых они более злобились, были наказываемы по два раза в день». При всем том стрельцы, как видно, не были вполне довольны этим оборотом дела: в то время как одни расправлялись на площади перед Разрядом с полковниками, другие принялись в своих слободах за пятисотенных и сотников, которых подозревали в единомыслии с полковниками: их сбрасывали с каланчей с криками: «Любо! любо!..» Князь Долгорукий – тот самый, который хотел высечь кнутом стрельца, принесшего общую челобитную в приказ, – старался теперь укротить стрельцов. Весьма естественно, что ему отвечали бранью и угрозами. Умы уже были раздражены, и, может быть, правительству нужно было уже тогда сделать что-нибудь побольше того, чем наказать полковников, которые притесняли стрельцов. Например, мы видим, что начальник Стрелецкого приказа, князь Долгорукий, управлявший им вместе с сыном своим, не был любим стрельцами и не умел с ними обходиться; однако же он остался на своем месте и во время мятежа был убит. Вместо то-

го чтобы позаботиться об отвращении общего бедствия, Нарышкины в это опасное время хлопотали только о себе. В самом разгаре стрелецкой расправы с полковниками Нарышкины забирали себе важные места в государстве. Боярин Иван Языков отставлен был от должности оружейничего, и на место его определен Иван Кириллович Нарышкин, имевший тогда всего 22 года от роду и отличавшийся чрезмерной пылкостью и резкостью. Два брата Лихачевы были отставлены от должностей комнатного стольника и кравчего, и вместо их назначены стольником Афанасий Кириллович Нарышкин, а кравчим – Кирилл Алексеевич Нарышкин. Стрельцы, не чуждые также родословных интересов, негодовали на слишком быстрое возвышение Нарышкиных, не бывших доселе в числе родословной знати. Но главной причиной их ропота было, вероятно, опасение, что родственники Нарышкиных, забравши себе всю власть, станут их притеснять, как в памятное еще тогда время первых лет царствования Алексея Михайловича притесняли народ родственники Морозова и Милославского. Лич-

ный характер Ивана Нарышкина подтверждал, вероятно, подобные опасения: недаром же про него распустили басню, будто он надевал корону и хотел задушить царевича Иоанна. Басня была нелепа, но, выдумывая ее, старались же, конечно, о том, чтобы она подходила к его характеру: это было необходимо, чтобы сохранить хоть какое-нибудь правдоподобие. Со времени возвышения Нарышкиных и начинаются сношения стрельцов с приверженцами Софии и сенсации в пользу Иоанна, будто бы обойденного в престолонаследии.[8] Еще более стрельцы были раздражены и, может быть, отчасти испуганы, когда Артамон Сергеич Матвеев, призванный в Москву из ссылки как лучшая опора нового правительства, стал упрекать его за излишнее послабление стрельцам и предсказывать, что данная им воля не поведет к добру. Стрельцы тотчас узнали его речи и еще с тем прибавлением, что, по совету Матвеева, намерены произвести строгий розыск между стрельцами, главных заводчиков казнить, а прочих разослать в дальние города. Через три дня после прибытия Матвеева в Москву

вспыхнул бунт – против Нарышкиных. Стрельцам сказали, что они убили царевича Иоанна и сами хотят властвовать. Вследствие этого стрельцы бросились ко дворцу, чтобы удостовериться в справедливости слуха. Увидавши, что царевич жив, они успокоились и требовали только, чтоб выдали им Ивана Нарышкина, надевавшего царскую корону. Но и на этот счет умели успокоить их Артамон Сергеич Матвеев и патриарх. Стрельцы притихли, очевидно не зная, что делать. В эту-то критическую минуту оказалась величаява спесь одного из бояр московских. Князь Михаил Долгорукий (сын того, который хотел кнутовать стрельца, принесшего челобитную) вздумал воспользоваться нерешительностью стрельцов и *пугнуть* их. Он грозно крикнул на них, повелевая немедленно удалиться. Но результат вышел совершенно противный его ожиданиям: стрельцы бросились на него и подняли его на копья. Вслед за тем умертвили Матвеева,[9] и потом началось кровопролитие, которого мы не хотим рассказывать.

Нет сомнения, что истинные начала стрельцкого мятежа Петр понял уже впослед-

ствии. В первое же время он не мог его приписывать ничему иному, кроме злобы и властолюбия своей сестры. Враждебного чувства к ней не мог победить он и впоследствии, когда при открытии третьего стрелецкого бунта он настойчиво доискивался ее соучастия в этом деле. Ужасная строгость, выказанная им в то время в отношении к виновным стрельцам, также была не чужда, конечно, между прочим, и кровавых воспоминаний детских годов. Но если даже Петр и до конца жизни не избавился от мысли, что единственно София была виновницей бунта, все же происшествия этого времени должны были открыть ему многое относительно внутреннего управления древней Руси. Одна стрелецкая челобитная, по простоте своей понятная малому ребенку и тем не менее заключающая в себе факты, возмутительные для человека даже очень *бывалого*, — одна эта челобитная многому могла научить Петра и не могла не подействовать на его деятельную, страстную натуру. Хоть смутно, хоть бессознательно, но уже с этого времени он должен был почувствовать, что начала управления древней Руси

оказываются вовсе несостоятельными в деле народного благоденствия. Дальнейший ход событий должен был все более и более убеждать его в этом.

Чтобы убедиться в том, как ничтожны все частные усилия пробудить волнение, которого нет в массе, Петру стоило привести себе на мысль всю историю падения Софии. Тут уже замыслы царевны на гибель брата и на возмущение стрельцов несомненны. Она находилась при этом в самом лучшем положении, какое только возможно; Петр же в самом неблагоприятном. Она была уже несколько лет правительницею государства; важнейшие государственные сановники – Голицын, Шакловитый, сам патриарх (до последнего времени) – были к ней в отношениях весьма дружественных; стрельцы были ей преданны, как всегда; в руках ее были награды, почести, деньги и вместе с тем пытки и казни. С другой стороны, Петр уже начал досажать многим своими потешными, и, по милости слухов, распущенных сестрою, многие полагали, что его действительно «с ума споили» (Устрялов, том II, стр. 53). Хитрости и обманы упо-

треблялись царевною и ее клевретами такие, каких и подобия не было при первом стрелецком бунте. Целых два года систематически действовал на стрельцов Шакловитый, распуская ужасные вести про Нарышкиных и про опасность, которая грозит стрельцам. Мало того, не ограничиваясь словами, употребили в дело другое орудие для озлобления стрельцов против рода Нарышкиных. Подьячий Шошин, один из самых близких поверенных Софии, нарядившись в белый атласный кафтан и боярскую шапку, под именем боярина Льва Кирилловича Нарышкина в июле 1688 года ездил по ночам по Земляному городу, с несколькими сообщниками, также переряженными, и до полусмерти бил обухами и кистенями караульных стрельцов при Мясницких и Покровских воротах. При этом он приговаривал: «Заплачу я вам за смерть братьев моих! Не то еще вам будет!» – а сообщники его говорили: «Полно бить, Лев Кириллович; и так уже умрет». На другой день избитые стрельцы приходили в Стрелецкий приказ жаловаться. Шакловитый сам осматривал их раны и, с видом сострадания к стрельцам,

повторял свою любимую поговорку о Нарышкиных: «Будут и вас таскать за ноги» (Устрялов, том II, стр. 43).

Но и это, столь энергическое, средство не помогло Софии поднять стрельцов. Она прибегла к другим мотивам. Некоторые из общников ее старались заманить стрельцов надеждою грабежа и богатой поживы. Так, один из них, Гладкий, открыто говорил: «Ныне терпите да ешьте в долг; будет ярмарка, станем боярские дома и торговых людей лавки грабить и сносить в дуваны. А на Рязанском подворье, я знаю, у боярина Бутурлина есть 60 чепей гремячих серебряных; мы их разделим между собою, а остальное отдадим на церковные главы». И это осталось без действия. София хотела найти поддержку в расколе; ее общники говорили против патриарха, хотели возвести на патриарший престол Сильвестра Медведева, уверяя, что «ныне-де завелись в церкви новые учителя», но решительно никакие ухищрения не помогали. Царевна решилась действовать прямее и уже сама лично, призывая стрельцов, говорила им: «Долго ль нам терпеть? Уж житья нашего не стало от

Бориса Голицына да от Льва Нарышкина. Царя Петра они с ума споили; брата Иоанна ставят ни во что, комнату его дровами закидали; меня называют девкою, как будто я и не дочь царя Алексея Михайловича; князю Василью Васильевичу (Голицыну) хотят голову отрубить, — а он добра много сделал: польский мир учинил; с Дону выдачи беглых не было, а его промыслом и с Дону выдают. Радела я всячине, а они всё из рук тащат. Мочно ль на вас надеяться? Надобны ль мы вам? А буде не надобны, мы пойдем себе с братом где кельи искать». Такие искусные речи заключались всегда подачкою стрельцам нередко по 25 рублей на человека. Стрельцы отвечали обыкновенно, что они готовы служить своей государыне: что она повелит, то и сделают. Но когда раз предложили им перебить Петровых приверженцев, то они ответили: «Буде до кого какое дело есть, пусть думный дьяк скажет царский указ, того возьмем; а без указу делать не станем, хоть многожды бей в набат». Наконец, когда уже дело подходило к концу, София объявила, что головы отрубят тем, кто задумает бежать к Троице, и потом, призвав

стрельцов, говорила: «Обещаю вам новые милости и награды, если докажете свою верность и не станете мешаться в мои дела. Но горе непослушным и мятежникам! Вы можете бежать к Троице (где был Петр): но помните, что здесь останутся ваши жены и дети» (Устрялов, том II, стр. 71). И, несмотря на все это, София была оставлена, все побежали к Троице, все спешили изъявить Петру свою покорность. От чего зависело такое невероятное различие в настроении умов и в направлении деятельности у стрельцов в эти недолгие промежутки времени, мы не беремся здесь решить. Но как бы то ни было, сходство этих двух годов – 1682 и 1689 – ясно показывает, что первый бунт стрелецкий был только направлен Софиею, а не произведен ею. Да и вообще не может один – или даже и несколько человек – произвести в массах волнение, к которому они не приготовлены, которое не бродит уже в умах их вследствие фактов прошедшей жизни.

Все изложенные нами явления, проходившие перед глазами Петра во время его детских и юношеских годов, не совсем удобны

были для того, чтобы внушить ему особенную любовь к преданиям, обычаям и всему порядку вещей в древней Руси. Долго он, разумеется, не сознавал, что именно дурно в древней Руси и чего именно нужно ей; тем не менее чувство недовольства этим порядком вещей зародилось у него весьма рано. В первое время недовольство это оставалось, конечно, в пределах личных отношений; потом приняло оно и более обширные размеры, послуживши первым шагом к преобразовательной деятельности. Сама жизнь постоянно воспитывала Петра, без всякого постороннего руководства; сама жизнь вызывала его на противодействие старому порядку, так, как вызывала она и всех других. Но другие – или предавались жалкой, тупой апатии, отворачиваясь от всего живого и свежего, или растрачивались на мелочи, выписывая комедиантов из неметчины да обучая полки на иноземный манер. Петр не поддался ни тому, ни другому. Он вырос среди тревог, смут и крамол; не раз приходилось ему видеть кровь и слышать стоны близких ему людей; он видел умерщвление своих дядей, трепетал за жизнь мате-

ри, несколько раз должен был опасаться за свою собственную; не один раз он видел власть отнимаемую из рук его происками хитрой сестры. Много вытерпело это сердце, многих ужасов и гадостей насмотрелся он в раннюю пору жизни; но зато закалился этот характер, окрепло это сердце и проницательнее сделался этот взгляд, нежели взгляд людей, принадлежавших допетровской Руси и во всю жизнь не переживших того, что пришлось пережить Петру до 17-летнего возраста.

В следующей статье мы постараемся представить очерк первого времени самостоятельной деятельности Петра, его первые, еще не широкие и не совсем верные шаги на поприще преобразований, до 1700 года, на котором пока прерывается повествование г. Устрялова.

Статья третья и последняя

События, волновавшие Россию во время детства и ранней юности Петра, закалили его характер и благоприятствовали отречению его от многих предрассудков древней Руси. Но события эти еще недостаточны были для того, чтобы развить в душе Петра определенную идею преобразования, в каком нуждалась тогда Россия. Оттого в первоначальной деятельности его мы не видим строгого последования заранее обдуманному и глубоко соображенному плану. Видно стремление к чему-то *другому, новому*, видно недовольство существующим порядком, видна жажда деятельности в молодом государе и во всем, что ближайшим образом окружает его. Но заметно и то, что ни у кого еще, ни даже у самого Петра, не сложилось в это время определенного идеала, к осуществлению которого нужно было стремиться. Даже конечная цель преобразований – дать большой простор развитию естественных сил народа, как вещественных, так и нравственных, – даже самая цель эта не была никем ясно сознаваема во время преобразова-

ний Петра. Многие подробности фактов, находящиеся в «Истории Петра» г. Устрялова, явно указывают на это, и свидетельство фактов довольно легко объясняется и подтверждается некоторыми соображениями. Изложим сначала эти соображения и потом перейдем к фактам.

При изучении истории великих людей мы обыкновенно впадаем в маленькую иллюзию, мешающую ясности нашего взгляда. Мы почти никогда не умеем ясно различить отдельных моментов в жизни исторического лица и представляем его себе в полном блеске его чрезвычайных качеств и деяний, в том виде, как он сделался достоянием истории. При этом к достоинствам или недостаткам лица мы часто относим не только самые его действия, но и последствия этих действий, может быть вовсе не зависевшие от его воли. Великий полководец начал войну, рассчитывая только необходимые и самые верные шансы; но во время самой войны произошли благоприятные обстоятельства, на которые он не рассчитывал и которыми, однако, умел воспользоваться. Мы охотно верим, что пол-

ководец заранее предвидел эти обстоятельства, вводил их в свой расчет, располагал по ним свои действия, – и от такого соображения величие полководца чрезмерно увеличивается в наших глазах. Искусный правитель, по очень естественному чувству, старался расширить круг своей власти и унижить власть своих соперников; мы находим в этих действиях глубокую и ясно сознанную мысль о централизации государства и прославляем необычайную дальновидность и мудрость правителя. Другой правитель издал закон, имевший через сто или двести лет огромное влияние на состояние целого государства; мы и это позднее влияние относим к гению правителя, который, по нашим предположениям, совершенно ясно понимал все следствия, какие в будущем должны произойти от его закона, и т. п. Во всех такого рода случаях мы смешиваем результаты с самым делом и сделанный нами логический вывод навязываем самым фактам. В старые годы так точно судили о великих людях в области поэзии. После разбора, например, всех произведений поэта, определивши их господствующий характер,

говорили, что поэт задал себе и всю свою жизнь развивал такие-то и такие-то темы. Ныне в эстетических разборах оставили такую манеру, убедившись, что произвольной преднамеренности в характере и целой жизни человека быть не может. В произведениях поэта, художника – отражаются впечатления его жизни, и характер их определяется теми фактами, из которых составилось его существование. Он не действует по заданной программе, составленной для него с детства на целую жизнь, – а следует за живым течением событий, отражая в себе недостатки и достоинства, скорби и радости своего общества и времени. Так теперь смотрят на великих деятелей в области поэзии. К сожалению, этот взгляд редко применяется к великим деятелям истории, хотя здесь он еще уместнее, нежели в эстетике. Мы до сих пор, по старой привычке, рассмотревши всю деятельность исторического мужа, со всеми ее бесчисленными последствиями, тотчас же проникаемся мыслью, что все выведенные нами последствия верно и положительно были им самим рассчитаны. Вслед за тем мы начинаем без-

мерно прославлять его, если следствия эти нам кажутся хорошими, или без милосердия порицать, если они нам почему-нибудь не нравятся. А между тем и то и другое неосновательно или по крайней мере преувеличено с нашей стороны. Будущее никогда не бывает нам столь ясно, как прошедшее, точно так же как прошедшее, в свою очередь, никогда не имеет над нами той силы, какую имеет настоящее. Поэтому всякий современный деятель гораздо яснее понимает отношение своих действий к прошедшим фактам, на которых они основаны, нежели к отдаленным последствиям в будущем. Но и прошедшее служит для него не как указатель того необходимого исторического преемства, в котором давно явившиеся причины связываются с далекими, имеющими явиться, последствиями. Такое преемство изучается только в истории, когда и причины и действия уже завершились в известном круге явлений. Для современного же деятеля прошедшее служит возбуждением лишь настолько, насколько оно еще существует в настоящем, мешая или благоприятствуя ему. Не тогда изменяется из-

вестная мера, установление, вообще положение вещей, когда гениальный ум сообразит, что оно может повести к дурным последствиям через несколько столетий, так как повело к ним за несколько веков пред тем. Нет, оно изменяется тогда, когда уже делается несоответствующим настоящему положению вещей, когда неблагоприятное его влияние уже не некоторыми только предвидится, а делается ощутительным для большинства. В это-то время и являются энергические деятели, становящиеся тотчас во главе движения и придающие ему стройность и единство. Они одни заметны нам в историческом рассказе и для невнимательного взора представляются единственными и первоначальными виновниками событий, происшедших при их участии. Но более внимательное рассмотрение открывает всегда, что история в своем ходе совершенно независима от произвола частных лиц, что путь ее определяется свойством самых событий, а вовсе не программой, составленною тем или другим историческим деятелем. Напротив, деятельность всех исторических лиц развивается не иначе, как под

влиянием обстоятельств, предшествовавших появлению их на историческом поприще и сопровождавших его. Поэтому приписывать замечательным двигателям истории ясное сознание отдаленных последствий их действий или все самые мелкие и частные их деяния подчинять одной господствующей идее, представителями которой они являются во всей своей жизни, делать это – значит ставить частный произвол выше, чем неизбежная связь и последовательность исторических явлений. Мало того – это значит, детски повергаясь ниц пред великими людьми, совершенно забывать, что они – все-таки люди и, следовательно, подвержены общей всем людям ограниченности сил и знаний. Мы забываем это, когда приписываем человеку основательное соображение и знание того, о чем он мог разве только смутно догадываться. Заоблачное вдохновение, внезапное наитие, предсказание, ясновидение – относятся, как известно, к области фокусников. В самом же деле, как бы человек ни был умен и гениален, он может производить свои соображения только на основании данных, имеющих у него под

руками. Поэтому все великие планы, высокие идеи, сложные замыслы ограничиваются обыкновенно достижением *ближайшей* цели. Когда эта цель достигнута, тогда уже начинается дальнейшее развитие идеи, планы расширяются, прежняя цель, в свою очередь, становится основанием, точкой отправления для новых целей и т. д. Но чем далее в будущее простирается замысел, чем более должен он опираться на событиях, еще не совершившихся, а только задуманных, тем глубже уходит он из мира действительности в область фантазии. Всякий исторический деятель хорошо чувствует это, и всякий, естественно, старается остерегаться от этих воздушных замков. Вот почему нам кажется, что необъятные, мировые соображения, привязываемые к каждому, самому простому, поступку великого человека, ставят его в какое-то странное, неестественное положение. Это, если хотите, поднимает его на высоту, недостижимую для обыкновенных смертных, и придает ему какой-то чудесный, сверхъестественный блеск. Но это же самое отнимает у него простое, человеческое величие, делая его чем-то сказочным,

непостижимым для ума человеческого. Так фантастические сказания о богатырских подвигах разных героев, возвышая их над обыкновенными людьми, чрез то самое уничтожают истинную, человеческую сторону их доблести. В истории подобные преувеличения делаются сказкой, в настоящей действительности они ведут к шарлатанству и фокусничеству. Фокусы эти озадачивают невежд, но не обманывают человека образованного. Как бы ни было велико искусство доктора, но если он станет вам предсказывать, на основании медицинских соображений, сколько лет проживут дети, которых вы надеетесь иметь, то вы, конечно, не слишком-то поверите ему... Так точно не поверите вы садовнику, который, посадивши дерево, станет утверждать, что он знает, сколько на будущий год будет листьев на этом дереве. Так точно не верят люди и историческому деятелю, который убеждает их принять такое-то решение во имя благих последствий, какие должны произойти из него по прошествии столетий. Только тогда человек может заставить людей сделать что-нибудь, когда он является как бы

воплощением общей мысли, олицетворением той потребности, какая выработалась уже предшествующими событиями. Потребности эти, как известно, никогда не заходят слишком далеко в будущее и часто ограничиваются одной настоящей минутой. Таков более или менее должен быть и деятель исторический, служащий представителем общего движения. Более отдаленные потребности, которых еще не чувствует масса, могут быть поняты и обсуждены теоретиками и философами, стоящими обыкновенно вне движения настоящей минуты. Но зато подобные люди и не являются обыкновенно в истории как великие двигатели событий своего времени. Их оценивают потом, когда идеи их подтверждаются фактами и делаются современными, то есть соответствующими сознанию большинства. Практические же деятели, которых прославляет история, обыкновенно потому и имеют успех, что твердо и прямо идут к *ближайшей цели*, видимой для всех, предоставляя *конечную цель* дальнейшему течению событий.

Высказать эти соображения мы сочли

необходимым для того, чтобы предупредить недоумение, которое многие обнаруживают, находя в книге г. Устрялова ясные доказательства того, что Петр, начиная свою преобразовательную деятельность, далеко не был проникнут определенными и обширными преобразовательными идеями. До сих пор нам обыкновенно рисовали Петра риторическими красками, заимствованными из похвального слова ему, сочиненного Ломоносовым. Петр представлялся нам в сверхъестественном, невозможном величии какого-то полубога, а не великого человека, и мы привыкли соединять возвышенные идеи, мировые замыслы со всеми самыми простыми и случайными его поступками. Нам казалось, что уже с колыбели Петр замыслил преобразование России, что потешными начал он играть для того, чтобы приготовить в России победоносное регулярное войско; что ботик велел починить, проникнутый идеею о сооружении флота; что он дружился с Лефортом и ездил в Немецкую слободу затем, что с ранних лет замыслил «вдвинуть Россию в систему европейских государств». Мало того, мы старались до

сих пор придавать особенное, какое-то мистическое значение всякому действию Петра, доводя до смешной точности мысль, что *вся жизнь* Петра была посвящена заботе о благе его подданных. Он ездил в одноколке, с одним денщиком: мы сейчас находим, что он делал это, желая предостеречь свой народ от роскоши. Он работал топором: мы говорим, что он руководился при этом мыслью показать подданным пример трудолюбия. Он выковал полосу железа: нам кажется, что он сделал это потому единственно, что хотел поощрить развитие национальной промышленности... Все это хорошо придумывать теперь, и все это отчасти справедливо в своих последствиях: простота Петра действительно нанесла удар боярской роскоши, его пример действительно имел влияние на окружающих. Но чрезвычайно странно предполагать, будто Петр заранее придумывал себе: «Попробую я выковать полосу железа; от этого, вероятно, промышленность в государстве разовьется». Такого рода выдумки приличны разве тому, кто ни к чему более серьезному не способен. Что же касается до Петра, то нет надобности

видеть в каждом его поступке плод заранее заданной теоремы. Мы уже имели случай заметить в прошедшей статье, что Петр был натура по преимуществу деятельная, а не созерцательная. В его делах выражалась прямо его живая, пылкая натура, а не государственная программа. Если уже в государственных внешних делах он не мог удерживать своих стремлений и, совершенно вопреки всем правилам этикета, сам первый приезжал к послу, которого долго ждал (см. Устрялова, том III, стр. 374), то тем более проявлялась, конечно, эта пылкость и нетерпеливость в делах частных и менее важных. Ничего нет легче для биографа, как увлечься страстностью природы необыкновенного человека и приписать вдохновению высокой мысли, глубоким соображениям и т. п. то, что было простым следствием этой страстности. В этом нет даже ничего дурного, но все-таки это несправедливо и, по нашему мнению, может вредить правильности взгляда на историческое лицо. Мы видели уже выше, как г. Устрялов увлекся, сказавши, что при виде ботика у Петра, как молния, блеснула мысль о преобразовании

России. Видели и другое увлечение, вследствие которого г. Устрялов полагает, что еще до 17-летнего возраста, до знакомства с Лефортом, в душе Петра уже совершенно сложились гениальные планы будущей деятельности. Мы имели случай заметить в прошедшей статье, что такие предположения не имеют исторического основания. Теперь, в продолжении нашей статьи, мы увидим, что и после знакомства с Лефортом, после низвержения Софии Петр не вдруг принялся за преобразования, а задумывал их постепенно, шаг за шагом, по мере приобретения новых знаний и расширения собственного круга зрения. Факты, свидетельствующие об этом, представляет нам сам г. Устрялов.

Самое первое и несомненное, что всеми выставляется в истории Петра, это – привязанность его к иноземному, желание сблизить Россию с Европой. Когда же развилась в нем эта любовь к иноземцам и в какой мере она владела его душою при начале его правления? С детских лет – утверждали доселе историки, полагавшие, что Петр в детстве сошелся с Лефортом. Ныне г. Устрялов опроверг

мнение, что Петр развивался в детстве под влиянием Лефорта, и потому начало глубоких замыслов Петра касательно сближения России с Европою должно быть отнесено к времени несколько позднешему. Впрочем, сам г. Устрялов говорит об этом весьма неопределительно, и скорее можно думать, что и он еще в детских годах Петра находит уже гениальный замысел, выражением которого явилась вся жизнь Петра. Так думать заставляют нас следующие выражения, найденные нами у г. Устрялова: «Незапно, как будто из непроходимой мглы, явился Петр пред взорами изумленного потомства с несомненными признаками какой-то великой, хотя еще не совсем ясной мысли... На величественном челе Петра, как только история озарит его своим ярким светом (этим тропом г. Устрялов хочет сказать: с тех пор, как начинаются первые известия о жизни Петра), нельзя не заметить глубокой думы, уже заронившейся в душу великого царя, думы, которой впоследствии он остался верен до гроба» (Устрялов, том II, стр. 6 и 7). Красноречие этих выражений делает честь г. Устрялову; но мы, к сожа-

лению, не совсем хорошо могли выразуметь, о какой именно «великой думе» говорит здесь красноречивый историк. Если он понимает здесь общую мысль преобразования государства, то он, очевидно, увлекается собственным красноречием, забывая о фактах. Если он имеет в виду частное проявление общей идеи преобразования, то есть сближение с иноземцами для научения от них, то и в этом случае, как увидим, в жертву красноречию нужно будет принести факты. Если, наконец, под глубокой думой, которой Петр остался верен до гроба, красноречивый историк понимает страсть Петра к военному и морскому делу, ранее других у него развившуюся, то и эта страсть в Петре-юноше не произвела еще тех замыслов, которые действительно можно бы назвать глубокой думой. Мы увидим, что создать как регулярное войско, так и флот Петр думал уже впоследствии. Вот факты, находящиеся в книге г. Устрялова. Начнем с отношений Петра к иноземцам в первое время его правления.

Астролябию, привезенную князем Долгоруким, Петр показал Гульсту, Гульст отреко-

мендовал ему Тиммермана, Тиммерман отыскал Карштена Бранта, Брант познакомил царя с Кортотом. В Троицкой лавре Петр узнал Лефорта и Патрика Гордона, чрез Гордона сделались ему известны Мегден и Виниус, чрез Виниуса Кревст и т. д. Вскоре Петр является окруженный иноземцами, и вот видимое основание той мысли, что усвоение России европейских нравов и обычаев с самого начала правления Петра было его задушевною мыслью. Но так ли это? Вспомните в положение дел. Тотчас по низвержении Софии Петр сменяет сановников, занимавших при ней важнейшие места в государстве. Кто же назначается на их место? Нарышкины, Лопухины, Стрешневы, Ромодановские, Голицыны, Долгорукие и пр., то есть родственники царя, его дядьки, друзья, и всё именитые бояре русские. Никто из иноземцев не занял важного места; они все остались при своих полках, как это заведено было уж исстари. Мало того — Петр очень мало показал участия к иноземцам, когда противная партия воздвигла на них гонение в начале его царствования. В первые дни его правления сожжен был в

Москве еретик Кульман. Вслед за тем издан был указ не впускать в Россию ни одного иноземца без царского повеления (Устрялов, том II, стр. 111). В начале 1689 года София особым манифестом призывала в Россию французских эмигрантов протестантского исповедания, изгнанных Людовиком XIV: в конце того же года Петр обнародовал указ, стеснительный для всех приезжающих иноземцев. Всем пограничным воеводам приказано было: приезжих из-за рубежа иностранцев расспрашивать накрепко, из какой они земли, какого чина, к кому и для чего едут, кто их в Москве знает, бывали ль в России прежде, имеют ли от своих правительств свидетельства и проезжие листы? Отобрав все эти сведения, следовало доносить обо всем в Москву и ждать царского указа; а без указа никого из-за рубежа в Россию отнюдь не допускать (Полн. собр. зак., том III, № 1358). Спрашивается: мог ли бы состояться такой указ, если бы Петр уже решил в уме своем, какую роль иноземцы должны играть в его царствование? Могут сказать, что Петр уступил в этом случае требованиям противной партии; но менее, нежели в чем-

нибудь, можно обвинить Петра в излишней податливости и уступчивости. Энергия его характера сложилась весьма рано, и твердая решимость, не знающая преград, обнаруживается и в юных годах его столь же ярко, как и в зрелом возрасте. Нет, если он согласился издать указ, затруднявший иностранцам доступ в Россию, то именно потому, что в уме его еще не определилась тогда идея об отношении его к иноземцам. Петр любил Лефорта, Тиммермана, Бранта и пр., любил тех иноземцев, с которыми случилось ему познакомиться в Немецкой слободе; но он вовсе не думал в то время обобщать этого чувства, распространяя его на всех иноземцев. Брант был для него дорог как человек, умеющий построить яхту, Лефорт служил для него образцом веселого собеседника и хорошего рассказчика, но вовсе не представителем европейских начал. Любя и уважая своих друзей *из немцев*, Петр любил и уважал *их лично*, мало заботясь о том, какие начала представляли они собою. Это видно и из того, что Петр допустил покушение стеснить свободу исповедания обывателей Немецкой слободы (Устрялов, том II,

стр. 114); видно и из оригинального способа, которым он вознаградил Гордона за одно публичное оскорбление. Вот как рассказывает об этом г. Устрялов:

Гордон, приглашенный к торжественному столу (28 февраля 1690 года), по случаю празднования рождения царевича Алексея Петровича, должен был удалиться из дворца по настоятельному требованию первосвященника (патриарха Иоакима), который объявил решительно, что иноземцам при таких случаях быть неприлично, – без сомнения, к немалой досаде Петра. На другой день царь утешил оскорбленного генерала роскошным пиром и дружескою беседою в одном из загородных дворцов (том II, стр. 115).

Не ясно ли, что во всей этой истории интерес Петра ограничивается пока личностью Гордона? Он пока не стоит за то, прилично или нет иноземцам быть при царских торжественных пиршествах; он уступает голосу, требующему, чтобы иноземец удалился, и только на другой день, по дружбе к этому иноземцу, хочет вознаградить его за получен-

ное неудовольствие.

Можно бы предположить, что уступчивость Петра происходила единственно от его уважения к патриарху Иоакиму. Но, во всяком случае, эта уступчивость должна была тяготить его, и он, конечно, постарался бы воспользоваться всяким случаем, чтобы от нее избавиться. Между тем мы видим, что по смерти Иоакима (в марте 1690 года) Петр хотя и желал назначить на его место Маркелла, пастыря кроткого и снисходительного к иноверцам, но не слишком настаивал на своем выборе. Согласно с желанием царицы Натальи Кирилловны, патриархом назначен был Адриан, «единонравный советник и задушевный друг покойному патриарху», по выражению г. Устрялова (том II, стр. 118), тот самый, которому принадлежит грозное обличительное послание против брадобрития, упомянутое нами в первой статье.

Вообще в первое время любовь Петра к иноземцам ограничивалась, кажется, тесным кругом личностей, окружавших его, и не имела в основании своем каких-нибудь дальнейших соображений. Несколько более общее

значение получает она с тех пор, как Петр съездил (уже в 1693 году) в Архангельск и посмотрел голландские и гамбургские корабли. Настоящий же государственный смысл принимает она только после первого азовского похода, когда Петр, наученный неудачным опытом, начинает нетерпеливо вызывать в Россию заграничных инженеров, артиллеристов, корабельных мастеров и капитанов и пр. Это началось с 1696 года, и в том же году назначены были русские молодые люди за границу и решена поездка самого царя. Здесь уже видно действительное, обдуманное убеждение, что нам нужно учиться у Европы, заимствовать для России полезные знания и искусства иностранцев. Но, чтобы почувствовать и определенно сознать это намерение, Петру недостаточно было, как видно, ни одних рассказов Лефорта, ни какого-то внезапного, таинственного прозрения, которое хотя и приписать ему некоторые историки. Дело было просто: опыт нескольких лет показал ему негодность наличных средств, существовавших тогда в России; близкие к нему иностранцы указали ему, где можно искать других,

лучших средств; он же нашел в себе столько характера, чтобы посвятить последующую часть своей деятельности на ревностное отыскание и усвоение этих средств и на уничтожение того, что при них оказалось негодным. Петр сделал то, на что никто до него не смел решиться, хотя и до него, конечно, понимали необходимость многого, введенного им.

Что в первое время своего царствования Петр еще не имел определенной решимости вообще касательно образа своих действий, доказывает его бездействие в первые пять лет правления до азовских походов. Мы знаем, что Петр не любил медлить ни в чем; как скоро он ставил себе какую-нибудь цель для действий, он шел к этой цели быстро и неуклонно. Никакие посторонние занятия и развлечения, никакие внешние преграды не могли заставить его отказаться от своей мысли, как скоро она овладевала его душою. Поэтому бездействие Петра до азовских походов можно объяснить не иначе, как только отсутствием такой, ясно сознанной мысли, неимением в виду определенной цели. По ясному и прямому свидетельству историка (Устрялов, том II,

стр. 133), «первые пять лет царствования Петра протекли в военных экзерцициях, в маневрах на суше и на воде, в фейерверках и веселых пирах. В это время не было издано *ни одного* замечательного закона, не было сделано *ни одного* важного распоряжения *ни по одной* отрасли общественного благоустройства». В подтверждение слов своих г. Устрялов приводит, из Полного собрания законов, важнейшие законодательные и правительственные распоряжения за пять лет, 1690–1694, и между этими *важнейшими* постановлениями мы находим несколько простых подтверждений прежних законов. Вообще же о степени их важности можно судить по тому, что в числе их находятся, например, такие распоряжения: о незаседании в приказах с 24 декабря по 8-е января; о клеймении преступников, подвергшихся вторичному наказанию и ссылке, буквою В; о запрещении извозчикам стоять в Кремле с лошадьми и пр. (том II, стр. 356–357).

Правда, что Петр и в это время не оставался в праздности. Напротив, он сам с удовольствием упоминает не раз в своих письмах, что он трудится неутомимо. Еще в 1689 году

он писал к матери из Переяславля: «Сынишка твой, в *работе пребывающий*, Петрушка, благословения прошу» (Устрялов, том II, стр. 401). В 1695 году он писал к Ромодановскому из похода под Азов: «Чаем за ваши многие и теплые молитвы, вашим посланием, а *нашими трудами и кровью*, оное совершить». В том же году из-под Азова писал он Винусу: «В Марсовом ярме непрестанно труждаемся» (том II, стр. 420). В одном письме к Ромодановскому говорит он, что не писал долго потому, «что был в непрестанных трудах». В 1696 году из Воронежа Петр писал Стрешневу: «А мы, по приказу божию к прадеду нашему Адаму, в поте лица своего едим хлеб свой». В это время Петр уже трудился над сооружением флота, и очевидно, что своей работе он уже придавал смысл гораздо важнейший, нежели значение простой потехи. Это понимали и окружающие его, не только он сам. В ответ на письмо Петра о прадеде Адаме Стрешнев отвечал: «Пишет ваша милость, что пребываете, по приказанию божию к прадеду нашему Адаму, в поте лица своего кушаете хлеб свой: и то ведаем, что празден николи, а всегда трудолюб-

но быть имеешь, и то не для себя, а для всех православных христиан» (стр. 423). Но повторяем – мысль о том, что Петр трудится для блага общего, является определенным образом, как у его приверженцев, так и у него самого, только со времени азовского похода. Даже самая лесть царедворцев, которой не могло не быть и при Петре, становится отважнее и размахистее только с этого времени. По взятии Азова Ромодановский писал уже к Петру таким образом: «Вем, что паче многих в трудех ты, господине, пребываешь и нам желаемое исполняешь, и по всему твоему делу мнил ты быть подобна многим: верою к богу – яко Петра, мудростию – яко Соломона, силою – яко Сампсона, славою – яко Давида, а паче, что лучшее в людех, чрез многие науки изобретается и чрез продолжные дни снискаательства их, то в тебе, господине, чрез малое искание все то является, во всяком полном исправном том виде» (Устрялов, приложение к II тому, II, 65). Таким языком не решались говорить с Петром до азовского похода даже придворные его времени. Видно, и они понимали, что еще не время придавать занятиям

Петра государственное значение... Тем страннее было бы, если бы позднейший историк стал находить в них глубокие идеи и намерения для блага государства. Так можно было рассуждать только до тех пор, пока факты скрывались под спудом и не были достаточно разъяснены. Теперь материалы, обнародованные г. Устряловым, несомненно доказывают, что труды первых лет правления Петрова, большею частью «механические и потешные», служили для него особым родом развлечения, любимым упражнением и только; ими он, по собственному выражению, *тешил охоту* свою. Притом же труды эти нередко сменялись различными увеселениями и отдыхами в кругу друзей. О характере этих увеселений дает понятие следующее описание, представленное г. Устряловым (том II, стр. 131–132):

Бывали дни, когда Петр покидал все свои работы и с товарищами сзоях трудов предавался шумному веселию. Он зазывал свою компанию обыкновенно к Лефорту, которому впоследствии выстроил великолепные палаты на берегу Яузы, иногда ко Льву Кирилловичу

Нарышкину в Филицы, к князю Борису Алексеевичу Голицыну, к Петру Васильевичу Шереметеву, к генералу Гордону, и веселился далеко за полночь, с музыкою, танцами, нередко при залпе орудий, расставленных вокруг дома, где пировала царская компания.

Председателем пиршества всегда был прежний учитель царя, думный дьяк Никита Моисеевич Зотов, прозванный «князь-папою, патриархом пресбургским, яузским и всего Кокуя». Он строго наблюдал за исправным осушением кубков и собственным примером поощрял собеседников к бою с Ивашкою Хмельницким, врагом невидимым, но лукавым и опасным, проявившим свою силу тем, что одни из гостей засыпали на месте и ночевали у хозяина, другие с трудом добирались до своих домов и, как, например, Гордон, едва в трое суток могли оправиться.

Здрав и невредим бывал один царь, которого на другой день восходящее солнце находило уже за работою. Он был душою пирующих, придумывал замысловатые потехи, обходился со всеми запросто, дружелюбно, не сердился

за прекословие; но не любил ни упрорного противоречия, ни упрорной лести; в особенности не терпел, если хвалили невежество, порицали науку, искусство или его друзей, и часто одно досадное или неуместное слово воспламеняло его таким гневом, что среди самого жаркого разгула собеседники умолкали и приходили в трепет. В подобных случаях один Лефорт мог успокоить взволнованного царя. Через несколько минут мрачное чело его прояснялось, гроза утихала, и все принимались за круговую чашу, при громе орудий, потрясавшем палаты пирующих.

Особенно весело проводил он святки и масленицу. На святках, сопровождаемый всею компаниею» своею, человек до 80 и более, под именем славельщиков, он посещал бояр, генералов, богатых купцов, славил Христа, принимал дары и веселился по несколько дней сряду. На масленице непременно спускал блестящие фейерверки, которые всегда сам устраивал, собственными руками изготовляя на потешном дворе ракеты, звезды, колеса, шутихи, ог-

ненные картины.

Г-н Устрялов весьма неопределенно говорит о том, как часто совершались празднества, обеды и прочие увеселения Петра. «Бывали дни», говорит он, и это выражение как будто намекает на то, что такие дни бывали не часто. Однако же дальнейшее изложение г. Устрялова ясно показывает, что все пятилетие 1690–1694 годов было почти непрерывным рядом военных и морских потех, сопровождавшихся обыкновенно торжественными увеселениями. Петр принял правление в октябре 1689 года. В январе и феврале 1690 года, по свидетельству Гордона, он уже спускал фейерверки; с весны начались военные потехи и маневры, при которых, между прочим, Петр был опален взрывом какой-то гранаты. Лето пролежал он больной, осенью возобновил маневры, а зимой опять работал над фейерверками к рождеству и масленице. Весна и лето 1691 года посвящены были маневрам и приготовлению к примерной битве, которая и разыграна была в октябре и заключена веселым пиром. Осень и зиму Петр разъезжал из Москвы к Переяславлю-Залесскому, где

строились у него новые суда. С весны 1692 года принялся он за спуск этих судов и, не довольствуясь присутствием при этом торжестве своей любимой компании, призвал в Переяславль и цариц; мать и жену свою. В августе прибыли они сюда из Москвы, и 14 августа был обед на адмиральском корабле с церемониею. Через неделю потом праздновали спуск корабля, и тут уже начались непрерывные пиршества. Царица Наталья Кирилловна отпраздновала здесь день своего тезоименитства и уже в начале сентября отправилась в Москву – не совсем, однако ж, здоровая. Петр оставался еще некоторое время в Переяславле, потом возвратился в Москву и сам захворал кровавым поносом, «от чрезмерных трудов и, вероятно, от излишних пиршеств», по замечанию историка (том II, стр. 144). Болезнь его продолжалась до рождества и возбудила серьезные опасения. Тут-то именно некоторые из любимцев Петра запаслись лошадьми, чтобы при первом известии о смерти его бежать из Москвы. «Но провидение сохранило Петра для России, – продолжает его историк. – Около рождества он стал поправляться и в

конце января, еще не совсем, впрочем, здоровый, разъезжал по городу, созывая гостей, в звании шафера, на свадьбу немецкого золотых дел мастера, распорядился на свадебном пиру и беспрестанно потчевал гостей напитками; сам, однако же, пил мало». На масленице Петр по обыкновению спустил фейерверк, им самим изготовленный, и заключил его «роскошным ужином, который продолжался до трех часов пополуночи». Весну 1693 года Петр провел в кораблестроении, в июле отправился в Архангельск. Здесь прожил он до половины сентября, поджидая прихода иноземных кораблей, плавая в Белом море и знакомясь с иноземцами, жившими в Архангельске. Г-н Устрялов говорит, что Петр в Архангельске «охотно принимал приглашения иностранных купцов и корабельных капитанов на обеды и вечеринки и с особенным удовольствием проводил у них время за кубками вина заморского, расспрашивая о житье-бытье на их родине» (Устрялов, том II, стр. 158). Посещал он также и архиепископа архангельского Афанасия, с которым, по свидетельству «Двинских записок», рассуждал также «о пла-

вании по морям и рекам, кораблями и другими судами, со многим искусством». В октябре 1693 года Петр возвратился в Москву и занялся приготовлениями к новому морскому походу в Белое море, назначенному следующей весной. «А между тем весело и шумно проводил вечера в кругу своей компании, нередко далеко за полночь (Гордон: 5 ноября 1693 года веселились у Лефорта до 6 часов утра), пировал на свадьбах в Немецкой слободе у офицеров, купцов, разного звания мастеров» (том II, стр. 160).

В январе 1694 года скончалась мать Петра. Смерть ее сильно поразила Петра, и горесть его была столь же порывиста, как и все его ощущения и стремления. «Трое суток он тосковал и горько плакал; в четвертые был уже спокойнее, провел вечер у друга своего Лефорта с компаниею; в следующий день – тоже, и принялся за дела». Весною он решился опять отправиться в Архангельск и заранее писал туда к Апраксину, прося его, между прочим, «пива не забыть». Отправился он туда в апреле, «после прощального обеда, данного Лефортом и на котором пропировали *от*

полудня до полуночи». Из Архангельска ездил он в июне – поклониться мощам соловецких чудотворцев, и на пути чуть не был разбит бурей. Вследствие этого – возвращение его из столь опасного путешествия было празднуемо в Архангельске несколько дней веселыми пирами. «Сначала пригласил к себе Петра на обед со всею компаниею капитан английского корабля, причем, по словам Гордона, не щадили ни вина, ни пороха. Через день потом Петр был на именинном пире у Тихона Никитича Стрешнева; от него отправился на яхту «Св. Петр», назначенную в тот же день для контрадмирала Гордона, и, повеселившись у него на новоселье, вечер и всю ночь до двух часов утра провел у адмирала; а в следующий день был на большом пиру у воеводы Ф. М. Апраксина». Вскоре потом Петр праздновал день своего ангела (29 июня); обеденный стол был в царских палатах, а вечер провел Петр у английского капитана Джона Греймса, который угостил гостей своих на славу. Через несколько дней потом праздновали спуск нового корабля; тут угощал всех веселым и продолжительным пиром вице-ад-

мирал Бутурлин. Спустя десять дней потом торжествовали прибытие голландского фрегата. «Торжество было неописанное; вся компания собралась на корабль и веселилась на нем долго». В самый разгул пиршества, прибавляет г. Устрялов, Петр хотел поделиться радостью с своими отсутствующими товарищами и кратко известил их письмом о прибытии фрегата. «Пространнее буду писать в настоящей почте, – заключает Петр это письмо, – а ныне, обвеселяся, неудобно пространно писать, паче же и нельзя: понеже при таких случаях всегда Бахус почитается, который своими листьями заслоняет очи хотящим пространно писати». По возвращении из Архангельска Петр опять *тешился* в Москве кожуховским походом, который, по обычаю, заключен был большим пиром. Это было в октябре 1694 года. Вскоре после того задуман был азовский поход, и потехи Петра уступили место действительным, серьезным трудам и военному опыту. Мы сделали это коротенькое извлечение из нескольких глав второго тома г. Устрялова, чтобы показать, чем наполнено было это пятилетие, в течение которого ис-

торик замечает полное отсутствие государственной деятельности в молодом царе. После нашего извлечения для читателей понятнее будет и следующее замечание, сделанное г. Устряловым относительно бездействия Петра в это время. «Очевидно, – говорит он, – царь, еще малоопытный в искусстве государственного управления, *исключительно преданный задушевным мыслям своим*, предоставил дела обычному течению в приказах и едва ли находил время для продолжительных совещаний с своими боярами; нередко он слушал и решал министерские доклады на Пущечном дворе» (том II, стр. 133).

Заметим, что здесь под *задушевными мыслями* Петра разумеются, конечно, не государственные идеи преобразования, а страсть к военному и особенно к морскому делу. Страсть к морю действительно является в это время у Петра уже в сильной степени развития. Для нее он позабывал все, ей он отдавался с тем увлечением и пылкостью, которые вообще отличали его стремительную натуру. Беспрестанно ездил он в Переяславль, и даже в Москве работал над судами. На спуск кораб-

ля призвал он из Москвы мать и жену; смотреть на корабли отправился он в Архангельск. И уж оттуда ничем нельзя было его выманить. Напрасно мать посылала ему письмо за письмом, прося поскорее возвратиться. «Прошу у тебя, света своего, – писала она, – помилуй родшую тя, – как тебе, радость моя, возможно, приезжай к нам, не мешкав...» «Сотвори, свет мой, надо мною милость, приезжай к нам, батюшка мой, не замешкав. Ей-ей, свет мой, велика мне печаль, что тебя, света моего – радости, не вижу». Петр не внимал мольбам скорбящей матери, непременно хотел дожидаться кораблей и отвечал ей успокоениями вроде следующего: «О едином милости прошу: чего для изволишь печалиться обо мне? Изволила ты писать, что предала меня в паству матери божией; и такого пастыря имеючи, почто печаловать?» Столь же равнодушен был Петр в это время и к другим обстоятельствам, выходящим из круга морского и военного дела. Так, в 1694 году в Архангельске, получивши от Виниуса известие о том, что в Москве много было пожаров в отсутствие царя, Петр ответное пись-

мо свое начинает известием о новом корабле, который спущен и «Марсовым ладаном окурен; в том же курении и Бахус припочтен был довольно». «О, сколь нахалчив ваш Вулканус! – продолжает он потом. – Не довольствуется вами, на суше пребывающими, но и здесь, на Нептунусову державу дерзнул, и едва не все суда, в Кончукорье лежащие, к ярмонке с товары все пожег; обаче чрез наши труды весьма разорен...» Шутливый тон письма показывает, что, под влиянием радостного впечатления от спуска корабля, Петр вовсе не принял к сердцу известия о московских пожарах. Он и упоминает о них как будто только для сближения мифологических имен, рассеянных в его письме.

Но и этого мало: предаваясь своей страсти к кораблям, Петр готов был пожертвовать для нее даже серьезными политическими интересами... Так, в начале 1692 года он, с 16-ю учениками своими, отправился в Переяславль и, заложивши там корабль, не хотел возвратиться в Москву даже для торжественного приема персидского посланника. Министры его, Лев Кириллович Нарышкин и князь

Борис Алексеевич Голицын, нарочно должны были ехать в Переяславль, чтобы убедить Петра в необходимости обычной аудиенции, для избежания ссоры с шахом. Петр поехал в Москву, но через два дня после приема посла опять ускакал к своим кораблям (Устрялов, том II, стр. 142).

Не мудрено поэтому, что в делах внешних историк замечает то же бездействие, как и во внутренних. Постоянная опасность России со стороны крымских татар не возбуждала ни малейшего внимания Петра. «Вопреки настоятельным требованиям польского короля, – говорит г. Устрялов, – подкрепляемым просьбами цесаря, Петр тщательно уклонялся от решительных предприятий против крымских татар, невзирая на то, что, озлобленные походами князя Голицына, они не давали нам покою ни зимою, ни летом, и довольствовался только охранением южных границ, поручив защиту их Белгородскому разряду, под начальством боярина Бориса Петровича Шереметева» (том II, стр. 133). Мало того, Петр даже почти соглашался примириться на условиях Бахчисарайского договора, и только условие о

платеже ежегодной дани хану его удерживало (Устрялов, том II, стр. 219). А между тем вспомним, как он был разгневан на Голицына за неудачу крымских походов...

Г-н Устрялов полагает, что «главную виною нерешительности Петра в этом случае было намерение его прежде всего изучить военное искусство во всех видах его, чтобы тем надежнее вступить с врагами в борьбу на море и на суше» (том II, стр. 190). Но едва ли можно принять это объяснение во всей его обширности. Без всякого сомнения, Петр, как и всякий человек с здравым смыслом, понимал, что войско нужно для войны. Нужна замечательная степень тупоумия для того, чтобы полагать, что войско составляет лишь блестящую, парадную игрушку, которую война может только испортить. Петр, конечно, этого не думал. При всем том сказать, будто он пять лет не обращал внимания на внешние государственные отношения *намеренно*, имея в виду приготовление хорошего войска для борьбы с врагом, — сказать это, по нашему мнению, нет никакого исторического основания. Мало того, желая такую оговоркою как

бы прикрыть временное бездействие Петра, мы тем самым оказали бы плохую услугу защищаемому делу. Последствия показали, что в течение времени от 1690 до 1695 года для образования войска и даже для развития морского дела в России сделано было весьма мало, почти ничего не сделано. Если бы Петр заботился об этом, и заботился до того, что пренебрегал из-за этого важнейшими дипломатическими отношениями, то неужели бы он допустил столько неисправностей и недостатков, сколько их обнаружилось при азовском походе, первом серьезном деле, предпринятом Петром? Мы видим впоследствии, как Петр умеет входить во все, обо всем заботиться, все предусматривать и устраивать заранее в тех делах, на которые он уже решился. Ничего похожего не встречаем мы до азовских походов. Видно, что до этого времени военные занятия и потехи Петра на море и сухом пути были еще только *личною* его страстью, с которою не соединялось пока никаких определенных замыслов. Сам Петр нигде ни одного намека не делает на то, чтобы он уже имел в виду государственные цели, упражняясь в

строении кораблей, изготовлении фейерверков и учреждении примерных битв. «Несколько лет *исполнял я охоту свою* на озере Переяславском, – пишет он в предисловии к «Морскому регламенту», – но потом оно мало показалось; то ездил на Кубенское; но оно ради мелкости не показалось. Тогда стал проситься у матери, чтобы видеть море. Она не пускала сначала, но потом, *видя великое мое желание и неотменную охоту*, и нехотя позволила». После того, насмотревшись на голландские и английские корабли, Петр, по собственным словам его, всю мысль свою уклонил для строения флота, и «*когда за обиды татарские учинилась осада Азова, и потом оный счистливо взят*, по неизменному своему желанию не стерпел долго думать о том, – скоро за дело принялся» (Устрялов, том II, приложение I, стр. 400). Ясно, что первая мысль о флоте мелькнула у Петра только при виде иностранных кораблей в Белом море, то есть в сентябре 1693 года. Окончательно же определилась она после похода под Азов. До тех пор это была просто *охота* к мореплаванию, не имевшая в виду ничего, кроме боль-

шего и большего простора себе.

То же надобно сказать и про сухопутное военное дело. Петр сам ясно засвидетельствовал в письме к Апраксину пред азовским походом, что потешные занятия были для него просто игрою. «Хотя в ту пору, как осенью, – пишет он, – в продолжение пяти недель трудились мы под Кожуховым в Марсовой потехе, – *ничего, кроме игры, на уме не было*, однако ж эта игра стала предвестником настоящего дела» (Устрялов, том II, стр. 219). Невозможно прямее и резче опровергнуть все возгласы, которые делаются опрометчивыми панегиристами о великих замыслах и планах, какие Петр соединял будто бы с потешными занятиями. «*Ничего, кроме игры, у меня на уме не было*», – говорит он им просто и строго, в полном сознании, что для дел его не нужно льстивых украшений, придуманных досужим воображением. Когда он занят *игрою*, он не боится признаться в этом: настанет у него время и для серьезного дела. В это-то время и игра обратится для него на пользу, которой он прежде и сам не предполагал.

Но и независимо от признания самого Пет-

ра мы имеем фактическое свидетельство касательно состояния военного дела в России под конец первого пятилетия Петрова царствования. Свидетельство это представляется нам в первом азовском походе. Поход этот предпринят был без дальних рассуждений. Совещание о нем происходило на Пушечном дворе. Петр, пред началом похода, выражался о нем в письме к Апраксину таким образом: «Шутили под Кожуховым, а теперь под Азов играть едем». С собою Петр взял 31 000 войска, состоявшего из новых полков и из стрельцов московских, а на Крым, по его повелению, «поднялась огромная масса ратных людей, наиболее конных, старинного московского устройства, в числе 120 000 человек». Под Азов вперед всех отправили Гордона с стрельцами сухим путем. Рассчитывали, что дойдет он в три недели; но состояние дорог было таково, что путь продолжался два месяца. Через Северный Донец нужно было, например, построить мост для переправы войска; он был изготовлен весьма нескоро «по лености, непослушанию и нерасторопности стрельцов», как замечает Гордон. Сам Петр отправился во-

дою с Лефортом и Головиным. От самой Москвы плыли на судах по Москве и Оке; путь этот был не совсем удачен. Во время плавания погода была бурная, а суда оказались никуда не годными, да и кормчие – тоже. Несколько раз садились они на мель, и многие так повредились, что едва могли дойти до Нижнего. Плавание так было беспорядочно, что иные суда, по словам самого Петра, тремя днями отстали, да и то *в силу пришли*. Все это было от небрежения глупых кормщиков, «а таких была большая половина в караване», – прибавляет Петр (том II, стр. 410). Дальнейший поход был совершен не лучше. От Царицына войска шли степью, с необыкновенными затруднениями. Изнуренные уже солдаты должны были трое суток везти на себе орудия, снаряды и тяжести, потому что при войске находилось не более 500 конных и вовсе не было ни артиллерийских, ни обозных лошадей. К довершению всего в Паншине (казачий городок) обнаружился недостаток продовольствия, «от неисправности московских подрядчиков, которые вовсе на заботились о своевременной поставке запасов; соли не было ни фунта»

(Устрялов, том II, стр. 230).

С такими-то приключениями добрались кое-как до Азова. Здесь Петр расположился, «на молитвах святых апостол, яко на камени утвердися», по его выражению. Но уже при самом расположении войска оказалось, как оно еще плохо. Едва только Гордон с своею дивизиею успел занять назначенное ему возвышение, как турки открыли огонь и бросились на нашу конницу, которая тотчас же обратилась в бегство, впрочем, была поддержана пехотою. Историк прибавляет: «Летевшие ядра так испугали людей командных и даже полковников, что они просили своего генерала укрепиться шанцами». Гордон с трудом удерживал людей от малодушного бегства. В таком положении три дня дожидался он прибытия на позицию дивизий Лефорта и Головина. Что же их задержало? То, что у них не было повозок и телег, и потому, чтобы они могли подняться, нужно было привезти им повозки из Гордонова лагеря, что посреди многочисленной неприятельской конницы исполнить было довольно затруднительно.

Петр и Гордон действовали неумоимо; ка-

заки отличались храбростью. Последние много подвинули вперед дело осады, овладевши двумя турецкими каланчами, в трех верстах выше Азова, на обоих берегах Дона. Но масса войска не стала от того лучше. На другой день после взятия каланчей турки привели в ужас русских, напав на них в то время, как они *отдыхали после обеда* – «обычай, которому мы не изменяли ни дома, ни в стане военном», – по замечанию историка. Гордон пишет при этом: «Стрельцы и солдаты, испуганные нападением, рассеялись по полю в паническом страхе, какого я в жизнь мою не видывал». Следствием этого страха было занятие турками нашего редута, который, впрочем, потом отбит был новыми подоспевшими полками. Гордон предлагал много мер для лучшего успеха осады, но его не слушали и поступали так, что всё как будто бы шутили. Даже и на деле оставляли Гордона без подкрепления, так что однажды часть отряда Гордона спасена была только внезапным отступлением чем-то обманутых турок. «Это неожиданное отступление, – замечает Гордон, – спасло нас от большой беды: отряд наш, бывший на дру-

гой стороне, не имел никакой защиты, кроме рогаток». Наши генералы заметно скучали и трусили ратного дела. В конце июля они послали даже письмо к паше, «пытаясь склонить его к сдаче города предложением ему *выгодных условий*», неизвестно каких... Паша не согласился.

Наскучив осадой и потеряв надежду склонить пашу *выгодными условиями*, заговорили о штурме. Гордон много спорил, доказывая, что штурм предпринимать еще рано. Его не послушали; сам Петр решился на штурм. Кликнули охотников, обещая рядовым по 10 рублей за каждое взятое орудие, офицерам – особое награждение. Вызвалось 2500 охотников из казаков. В полках же солдатских и стрелецких – *охотников не оказалось*. В подкрепление охотникам назначено было по 1500 человек из каждой дивизии. Между охотниками мало было офицеров, да и те были – или по неопытности слишком самонадеянны, или очень унылы. На приступ отправились без лестниц и фашинов. Во время самого приступа колонна стрельцов, назначенная в помощь штурмующим, расположилась в са-

дах и спокойно смотрела на усилия своих товарищей. Оттого приступ, конечно, не удался. Русские в четырех полках потеряли 1500 человек; урон турок простирался только до 200...

После неудачного приступа снова принялись за осадные работы. Но они шли крайне плохо. В особенности у Лефорта ничего не было сделано, вследствие его беззаботности и неискusstва инженеров. Лефорт вовсе не заботился даже об устройстве коммуникационных линий с лагерем Гордона, для взаимной обороны. Минные галереи, начатые им, неприятели открывали и разрушали. Гордон также повредил собственные работы, взрывая неприятельскую контрмину. В дивизии Головина молодой инженер (кажется, Адам Вейде) объявил, что он подрылся под самый фланг бастиона и что нужно сделать взрыв. Военный совет решил: взорвать подкоп и, как скоро обрушится крепостная стена, занять пролом ближайшими войсками. Взорвали подкоп. «Бревна, доски, каменья взлетели на воздух и всею тяжестью обрушились на наши траншеи, где перебили 30 человек, в том чис-

ле двух полковников и одного подполковника, да человек сотню изувечили. Стена же крепостная осталась невредимою».

Как последнее средство хотели испытать еще приступ, и для большего успеха решились начать штурм тотчас по взрыве мин, заложенных против крепости, в самом центре. Приступ назначен был общий со всех сторон, с сухого пути и с Дона. Напрасно Гордон толковал о бесполезности нападения с речной стороны, приводя весьма основательные соображения; его не послушали и на его возражения отвечали какими-то темными надеждами. При самом распределении войск для атаки сделали странную ошибку. Казаков, уже столько раз показавших свое мужество, оставили для защиты лагеря от предполагаемого нападения татар из степи, а на приступ повели солдат и стрельцов, которые и тут показали, разумеется, не больше храбрости, чем прежде. Второй штурм окончился так, как и следовало ожидать. Взрывом мин повредило часть бастиона, но едва ли не больший вред нанесло самим русским. «Взлетевшие на воздух камни обрушились, как и прежде, на на-

ши апроши, где задавили полковника Бана, несколько офицеров, много нижних чинов и до 100 человек переранили». На приступ шли опять без лестниц; весь бой шел вяло и не единодушно. Отряд Лефорта, которому велено было развлекать силы неприятеля нападением на укрепления, ближайšie к атакуемым главными силами, подошел к ним и, видя, что тут нет пролома и даже ров не засыпан, счел за лучшее присоединиться к Гордоновым стрельцам, шедшим в пролом стены. Прочие же войска ограничивались одним видом нападения и ждали, когда другие проложат им путь в город. Заметив это, турки все свои силы сосредоточили у пролома, прогнали солдат с вала, потом выпустили на русских 400 яростных янычар. Стрельцы при виде их тотчас же побежали, не дожидаясь нападения, и остановились на внешней части вала, откуда скоро были опрокинуты в ров. Гордон ударил отбой... Второй и третий приступ были столь же безуспешны. Солдаты шли неохотно и не умели держаться против неприятеля. Потерявши множество народу, принуждены были наконец отказаться от вся-

кой надежды завладеть Азовом на этот раз. Через день после второго штурма решено было – снять осаду Азова. Трофеи наши на этот раз состояли в одном турецком значке да в одной железной пушке.

Отступление совершилось с бедствиями и затруднениями еще худшими, чем первый путь до Азова. В степи беспрестанно тревожила отступавших татарская конница, и Гордон, бывший в арьергарде, едва мог сохранять хоть какой-нибудь порядок в своих полках. Один полк, бывший под начальством Сверта, отстал; татары напали на него, разбили совершенно и взяли в плен самого полковника с несколькими знаменами. Весь арьергард пришел от этого в большое смущение; поддержал порядок один Бутырский полк. За Черкасском неприятель более не преследовал отступающих; но тут начались морозы и вьюги. Войска шли безлюдной и обгорелой степью; люди и лошади гибли от голода и холода. Через месяц после удаления армии проезжал по следам ее Плейер, цесарский посланник, и он говорит, что не мог видеть без содрогания множества трупов, разбросанных

на пространстве 800 верст и пожираемых волками... Через два месяца, уже в конце ноября, полки вступили в Москву, впрочем с торжеством. В знак победы, конечно, «пред царским синклитом вели турченина, руки назад; у руки по цепи большой, вели два человека». Этим жалким подобием победного триумфа Петр отдавал еще последнюю дань своим прежним потехам. Но на *таком* триумфе он не мог успокоиться.

Азовские неудачи многому научили Петра, на многое заставили его смотреть совсем иными глазами. Он не мог не заметить недостаточности и легкомысленности того, чему прежде предавался с страстным увлечением. Поход под Азов был отчасти также плодом увлечения, пробой военной игры с настоящим неприятелем. Но проба эта обошлась дорого и была решительно неудачна. Причиной неудач было именно то, что до начала войны не позаботились ни о чем, что необходимо было для успеха. Ни о средствах сообщения, ни о продовольствии, ни об артиллерийских и инженерных принадлежностях, ни о способных офицерах, ни о внушении воинского

духа всему войску, ни о порядочном устройстве полков, – ни о чем не подумали. С первого шага до последнего во всем обнаруживалось крайнее неустройство, беспорядок, слабость, невежественные ошибки. Петр не мог не видеть тут, что нужны перемены быстрые и решительные для того, чтобы сделать что-нибудь для России. Он должен был понять теперь, что успехи и неудачи военные не от ловкого маневрирования зависят, а что для них нужно и кое-что другое. Эта мысль на каждом шагу должна была преследовать его при азовских неудачах. Ее должны были еще более усиливать и известия, получавшиеся из Белгородской армии. Ему писали, что «промысла под Казыкерманом чинить невозможно, затем, что с денежным жалованьем не бывали, и деньги все вышли, да ружья мало». Далее объяснили Петру, что Шереметев жаловался на недостаток «ломовых пушек», то есть осадной артиллерии, и что те пушки велено ему дать из Киева, но он пишет, «что взять их неколи, время испоздалось». Все подобные известия ясно указывали Петру на необходимость образовать правильную воен-

ную администрацию и заботиться о средствах для войны еще более, нежели о храбрости в битвах. Он понял это, и с тех пор образ деятельности его заметно изменяется. Нельзя сказать, чтобы Петр в это время вполне уже обнял все отрасли государственного управления, вполне и ясно сознал все, что необходимо было сделать для благоденствия и славы России; но по крайней мере относительно военного дела взгляд Петра значительно уяснился и расширился после первого азовского похода. И тут-то мы видим, какая разница между деятельностью Петра, когда она направлена к какой-нибудь определенной цели, как теперь, — и между его же деятельностью, когда она вызвана просто его личными увлечениями, без всяких дальнейших планов, как было с воинскими и морскими потехами Петра до азовских походов. В тех потехах он только изучал технику самых простых и незначительных работ и физическими трудами, с перемежкой увеселений и пиршеств, как будто заглушал ту безмерную жажду деятельности, которая томила его душу, не находя себе достойного предмета для удовлетворения. Отто-

го-то он и не приготовил ничего для успешной войны, что не знал и не думал, что выйдет из его потех. Если бы он, в самом деле, потому только и с турками и с поляками не хотел вступать в решительные переговоры, что хотел прежде приготовиться к войне, — то, без сомнения, он действительно и приготовился бы к ней в течение пяти лет, от 1690 до 1694 года. А между тем мы видим, что приготовлено ничего не было и что в полгода, прошедшие от первого азовского похода до второго, сделано было больше, нежели в те пять лет. Таким образом, и здесь ясно становится, как Петр увлекаем был силою событий, как он постепенно вразумляем был фактами, совершавшимися пред его глазами, и как его стремления раскрывались и расширялись все более и более по мере того, как явления жизни указывали ему на новые государственные потребности, которым нужно было удовлетворить. Решимость удовлетворить этим потребностям во что бы то ни стало и составляет главную его заслугу. Не нужно, впрочем, думать, чтобы Петр разом, одним гениальным воззрением охватил все отрасли государ-

ственной деятельности и тотчас же после азовского похода составил полный план преобразования. Вовсе нет. Мы видим, что, оставляя пока в стороне многие важнейшие государственные вопросы и настоятельные потребности России, Петр обратился на этот раз только еще к тому, что всего прямее и непосредственнее связано было с предыдущими событиями и что всего более согласовалось с его собственными, личными наклонностями. Прежде всего Петр обратил внимание на то, что могло способствовать усовершенствованию военного дела и созданию морской силы нашей. Опираť всю силу государства на войске было свойственно тому времени, когда высшие понятия о благе и величии народов не были еще выработаны. Поэтому несколько неудивительно, что и Петр прежде всего позаботился о войске, оставив на это время без внимания другие интересы страны. Еще понятнее забота Петра о флоте, так как мы знаем, что страсть к морю была одною из сильнейших и постояннейших страстей его. Мысли свои вообще о военной силе очень ясно высказал Петр несколько позже, в указе о

призыве иноземцев в Россию 1702 года. В указе этом Петр говорит, что всегда старался «о поспешествовании народной пользы и для того заводил разные перемены и новости». Перечисливши некоторые из новых учреждений и мер, указ продолжает следующим образом: «Но понеже мы опасаемся, что такие учиненные нами расположения не совсем достигли такого совершенства, как мы желаем, и, следовательно, подданные наши еще не могут пользоваться плодами трудов наших в безмятежном спокойствии, – того ради помышляли мы и о других еще способах» и пр. «Для исполнения полезных таких намерений мы *паче всего* старались о том, чтобы военный наш штат, *яко подпору и ограду государства нашего*, как возможно наилучше учредить, дабы армии наши составлялись из людей, *знающих воинские дела и хранящих добрый порядок и дисциплин...*» (см. Туманского, Записки, ч. II, стр. 186–190). Таковы были предположения и мнения Петра даже в 1702 году. Опорою государства считает он войско и потому *паче всего* заботится о нем; в войске же более ничего не требует, как знание воин-

ских дел, добрый порядок и дисциплин. Учреждение войска с такими качествами считает он *лучшим* средством для ограждения государства и для поддержания в нем благоденствия. Эта мысль не исчезла в Петре до конца его жизни, но с течением времени она потеряла для него часть своего преобладающего значения. Рядом с нею мало-помалу возникли в душе Петра мысли и о важном значении других отраслей государственного управления. Не переставая заботиться о войске и флоте, он в последующее время много обращает также внимания и на развитие промышленности в государстве, на финансовые отношения, на лучшее устройство гражданских учреждений, – заводит училища, задумывает академию наук, учреждает синод и пр. Но теперь пока, пораженный несовершенством войска, он почти исключительно занят делами военными и в особенности сооружением военного флота.

На возвратном пути из первого азовского похода, из степи, близ берегов Айдара, Петр послал уже грамоту к цесарю римскому с известием, что он ополчался на врагов христи-

анства, но главной их крепости взять не мог, по недостатку оружия, снарядов, а всего более искусных инженеров. Поэтому Петр просил цесаря отпустить в Россию нескольких искусных инженеров и минеров. О том же писано было потом и к курфирсту бранденбургскому. К королю же польскому Петр обратился с требованием, на основании союзного договора, – одновременных и решительных действий против неприятеля. Это уже показывало, что Петр теперь не *играть* едет под Азов, а задумывает серьезное дело. И действительно, 22 ноября 1695 года Петр возвратился в Москву из-под Азова, 27-го вновь сказана ратным людям служба под Азов, а 30-го Петр писал к двинскому воеводе Апраксину, чтобы всех корабельных плотников немедленно прислать из Архангельска в Воронеж. «По возвращении *от невзятия* Азова, – пишет он, – с консилии генералов указано мне к будущей войне делать галеи, для чего удобно мною быть шхип-тиммерманам (корабельным плотникам) всем от вас сюды: понеже они сие зимнее время туне будут препровождать, а здесь тем временем великую пользу к войне учинить;

а корм и за труды заплата будет довольная, и ко времени отшествия кораблей (то есть ко времени открытия навигации в Архангельске) возвращены будут без задержания, и тем их обнадежь, и подводы дай, и на дорогу корм». В этом письме особенно замечательна серьезная, обдуманная заботливость Петра о том, чтобы людям, которых вызывал он, было удобно и выгодно отправиться в Воронеж.

Самое комплектование войска происходило теперь не так, как прежде. 13 декабря кликнули клич в Москве, чтобы поступали на службу ратную охочие люди всякого чина. «Охотников нашлось немало, – говорит историк, – особенно в господских дворнях, наполненных сотнями холопов праздных и голодных. Крепостные люди толпами стекались в Преображенское и записывались – частью в солдаты, частью в стрельцы. Жен и детей их отбирали от господ и селили в Преображенском» (том II, стр. 261). Кроме того, Петр потребовал присылки войск от малороссийского гетмана и из Белгородской армии. Над всем войском назначен был один главнокомандующий, чего не было в первом походе и что

много мешало единству действия. В декабре же, сделавши распоряжение о заготовлении материалов для постройки судов в Воронеже, Петр занялся формированием *морского регимента*, который и составил из 4000 человек, частью вновь набранных, частью переведенных из Семеновского и Преображенского полков. Начиная с марта месяца Петр занялся уже почти исключительно постройкою судов.

Г-н Устрялов свидетельствует, что и в это время Петр «еще не думал о постройке фрегатов и линейных кораблей, вопреки рассказам позднейших историков. Желания его ограничивались гребною флотилиею, галеасами, галерами, каторгами, брандерами» (том II, стр. 259). Значит, и здесь у Петра была только *ближайшая* цель: соорудить флотилию, чтобы запереть Азов с моря. Определенная мысль о флоте как «краеугольном камне могущества России и лучшем средстве открыть России путь в Европу» – явилась еще позднее. Флотилия Петра состояла теперь из 30 военных судов, сооруженных под его надзором и при его непосредственном участии в течение марта месяца 1696 года. К половине апреля подошли

В Воронеж войска из Москвы, а через месяц Петр был уже под Азовом. Здесь, с первого же шагу, Петр мог заметить, что турки робеют на море и что на галеры его смотрят не без страха. Не мудрено, что это, как предполагает г. Устрялов, убедило Петра в пользе и надобности построить флот, который мог бы плавать по волнам не только азовским, но и черноморским. Впоследствии мы видим, что при переговорах с турками Петр очень добивался дозволения русским кораблям свободного плавания по Черному морю.

Под Азовом дела на этот раз шли гораздо лучше, хотя до прибытия цесарских инженеров мы умели только повреждать строения в городе нашими бомбами и ничего не могли сделать укреплениям. Бывали и в самых битвах не совсем удачные попытки, как, например, 24 июня, когда русские, отразив татар, бросились их преследовать, по словам самого Петра, «прадедовским обычаем, не приняв себе оборонителя воинского строю», и оттого потерпели значительный урон. Но все же теперь было уж далеко не то, что в первой осаде. Только искусство вести осадные работы

нам не давалось, несмотря даже на присутствие приезжих бранденбургцев, которые оказались артиллеристами и были искусны только в метании бомб. Не зная, что делать, спросили самих солдат и стрельцов, как им кажется лучше овладеть Азовом. Они сказали, что нужно сделать высокий земляной вал, привалить его к валу неприятельскому и, засыпав ров, сбить турок с крепостных стен. «Как ни странно было это предложение, напомиравшее осаду Херсона великим князем Владимиром в X столетии, – замечает г. Устрялов (том II, стр. 285), – однако же царский совет принял эту мысль, а Гордон даже с жаром ухватился за нее... Принялись строить вал, и более двух недель постоянно по ночам работали над ним по 15 000 человек... Само собою разумеется, что работы эти не обходились без значительных потерь для нас, а пользы пока приносили мало. Наконец приехали 11 июля цесарские инженеры, подивились громадности работ наших, но не ожидали от них особенного успеха, а более надеялись на подкопы и батареи. Они дали советы, как вести мины, как ставить батареи, и вскоре меткие вы-

стрелы их разрушили палисады, которые тщетно старался разбить Гордон. На ночь 12 июля русские солдаты могли уже занять оставленный турками угловой бастион; через неделю турки не могли более выдерживать нашей пальбы и заговорили о сдаче. На другой день решена была капитуляция. Турецкое войско выпущено с оружием. Петр занял Азов, предположил построить новые укрепления для него, потом отправился отыскивать в Азовском море место, удобное для гавани будущего флота русского. Место это нашлось близ Таганрога. Вскоре потом войска пошли назад и через два месяца, 30 сентября, вступили в Москву с торжественнейшим триумфом. Через месяц потом (в начале ноября) решено было Петром устройство *кумпанств* для изготовления кораблей к апрелю 1698 года. В том же месяце «многое число людей благородных послал Петр в Голландию и иные государства учиться архитектуры и управления корабельного» (Устрялов, том II, стр. 310»). В начале же следующего месяца назначено было и великое посольство в Европу, при котором отправился и сам Петр с волонтерами, имевшими

целью – изучение морского дела. Так действовал Петр, когда одушевляла его определенная, ясно сознанная идея. Ничто не могло остановить его, ничто не могло отвлечь от задуманного плана. Он не любил долго думать, раздумывать и откладывать, не любил взвешивать трудности и препятствия; он если уж решался, то шел до конца, несмотря ни на что... «Не стерпел долго думать, скоро за дело принялся», – можно повторить о всех его предприятиях.

И вот в этом-то твердом и неотступном преследовании своих целей выражается преимущественно величие Петра. Преобразовательные замыслы рождались постепенно один за другим, сами собою, именно потому, что Петр неуклонно стремился к непременно-му исполнению каждого задуманного им предприятия. Он непременно хотел преодолеть, устранить или уничтожить все, что могло мешать ему на его дороге, и воспользоваться всем, что могло способствовать осуществлению его идей. Таким образом, преобразования и нововведения были неизбежны по самому характеру деятельности Петра. Он

приходил к ним и тогда, когда не имел далеких замыслов. Так и в путешествии за границу напрасно стали бы мы искать великих и дальновидных замыслов политических. Целью путешествия было ни больше, ни меньше как изучение корабельного дела. Г-н Устрялов так говорит об этом:

Не безотчетная страсть к иноземному, воспламененная Лефортом и разгульною жизнью Немецкой слободы, как говорят одни писатели; не обширное, давно обдуманное намерение, по внушению того же любимца, «оставить царство, чтобы научиться лучше царствовать» и преобразовать Россию по образцу государств европейских, как пишут другие историки; а собственное убеждение, плод светлой, гениальной мысли, что краеугольным камнем политическому могуществу России должен быть флот, увлекало Петра в чужие земли, чтобы с товарищами трудов, с цветом русского дворянства, изучить искусство многосложное, многотрудное, едва знакомое приходившим в Россию иноземцам по одному навыку, без всяких

начал теоретических, искусство кораблестроения и мореплавания. Не думал, конечно, любознательный царь ограничить тем своего всеобъемлющего любопытства: ничто полезное, удобоприменимое к русскому народу, не могло укрыться от его орлиного взора; но твердое, глубокое изучение кораблестроения и мореплавания, во всех видах, от ловкой сноровки плотника до геометрической точности мастера, от сметливости штурмана до распорядительности адмирала, вот истинная цель путешествия Петра (Устрялов, том III, стр. 10–11).

Свойственное г. Устрялову красноречие в этом случае затемняет несколько простую сущность дела; но добратся до нее не трудно при помощи фактов и некоторых заметок, представленных самим же г. Устряловым. Из этих фактов очевидно одно: что, вопреки общему мнению, как замечает сам же историк в другом месте (том III, стр. 179), Петр искал за границу единственно средств ввести и утвердить в России морское дело, едва ли помышляя тогда о преобразовании своего госу-

дарства по примеру государств западных. Мы даже можем сказать прямо: *«вовсе не помышляя»*, – основываясь на словах самого Петра в предисловии к морскому регламенту. Вот эти слова, писанные в рукописи не самим Петром, но его рукою поправленные и дополненные: *«Дабы то (то есть строение кораблей) вечно утвердилось в России, умыслил искусство дела того ввести в народ свой и того ради многое число людей благородных послал в Голландию и иные государства учиться архитектуры и управления корабельного. И что дивнейше, – аки бы устыдился монарх остаться от подданных своих в оном искусстве и сам восприял марш в Голландию, и в Амстердаме на Ост-Индской верфи, вдав себя с прочими волонтерами своими в научение корабельной архитектуры, в краткое время в оном совершился, что подобало доброму плотнику знать, и своими трудами и мастерством новый корабль построил и на воду спустил»* (Устрялов, том II, стр. 400). Вот какое объяснение дает своему путешествию сам Петр: ему как будто совестно стало, что подданные изучат то, чего он сам не знает, и он

сам отправился учиться. В этом обнаруживается высокое стремление, но только стремление не государственное, а чисто личное, притекавшее не из зрело обдуманых замыслов и планов, а из стремительной, нетерпеливой натуры Петра. Он просто «не стерпел долго думать» и ждать, пока посланные им люди воротятся из-за границы с новыми сведениями и поведут как следует дело строения кораблей. Увлекаемый своей страстью к морскому делу, преданный одной мысли, которая мешала ему спокойно заниматься другими вопросами, он, не долго думая, решился сам *есть* себя в дело, к которому стремились все его помышления. Все остальное отодвинулось для него далеко на второй план. Вот почему мы думаем, что не только о преобразовании государства по образцу европейских Петр в это время еще не думал, но даже и мысль «о краеугольном камне политического могущества России» была для него по крайней мере не главною побудительною причиною путешествия. Самое отдаленное, самое последнее соображение Петра в это время не простиралось, кажется, далее возможности

успешно воевать с турками. Так по крайней мере заставляет думать одно письмо его к патриарху из Амстердама, в котором он говорит: «Мы в Нидерландах, в городе Амстердаме, благодатию божиею и вашими молитвами при добром состоянии живы и, последуя слову божию, бывшему к праотцу Адаму, трудимся; что чиним не от нужды, но доброго ради приобретения морского пути, дабы, искусясь совершенно, могли, возвратясь против врагов имени Иисуса Христа победителями, а христиан, тамо будущих, свободителями, благодатию его быть. Чего до последнего издыхания желать не престану» (Устрялов, том III, стр. 74). Мысль о войне с турками выражается не раз и в других письмах Петра и в самых переговорах, которые великое посольство вело с разными дворами. Но такая мысль была обычна нашей политике издавна и не составляла какого-нибудь чрезвычайного, громадного замысла. Что же касается до того, какие надежды и предположения основывал Петр на удачном окончании войны турецкой, — это нигде им не высказано, и история ничего решительного на этот счет сказать не может.

Составлять великие, гениальные проекты задним числом вовсе не трудно для историка; но нужно, чтобы они имели положительное, фактическое основание; а этого-то и нет в настоящем случае. Есть, правда, свидетельство Шафирова, 1716 года, в «Рассуждении о причинах шведской войны»,^{42} относительно общей цели путешествия Петра; но и это свидетельство нужно признать запоздалым. Шафиров говорит, что Петр «побужден был острым и от природы просвещенным своим разумом и новожелательством видеть европейские политизованные государства, которых ни он, ни предки его, ради необыкновения в том по прежним обычаям, не видали, дабы притом, получа искусство очевидное, потом, по прикладу оных, свои пространные государства как в политических, так и в воинских и прочих поведениях учредить мог, також и своим прикладом подданных своих к путешествию в чужие крап и восприятию добрых нравов и к обучению потребных к тому языков возбудить». Но на такое широкое объяснение г. Устрялов справедливо замечает, что так легко было писать Шафирову через 18 лет

после путешествия Петра, когда уже многие полезные перемены были совершены. При этом историк высказывает следующее, вполне справедливое убеждение: «Мысль преобразовать государство родилась в уме Петра уже за границую, но она еще долго оставалась неясною, неопределенною, и государственное устройство изменялось постепенно в продолжение всего царствования Петрова, по указанию опыта)) (том III, стр. 402). Если эту постепенность историк проведет в продолжение своего труда более последовательно, чем это видим в изданных ныне томах, то последующие томы истории Петра составят явление весьма замечательное...

Что Петр, отправляясь за границу, удовлетворял просто собственной личной потребности, не руководствуясь в этом деле никакими высшими государственными соображениями, это ясно видно из истории всей его деятельности за границей, и особенно в Голландии. Мы не станем передавать, в подтверждение этой мысли, всего подробного рассказа г. Устрялова, но укажем на некоторые частности. Пред отправлением *великого посольства*

Петр составил записку в 12-ти пунктах о том, что главным образом должны иметь в виду послы во время путешествия за границей. Собственноручная записка эта напечатана у г. Устрялова (том III, стр. 8–10), и в ней ни о чем более не говорится, как о прирюкании искусных морских офицеров, боцманов, матросов, всякого звания корабельных мастеров, о закупке оружия и разных припасов для флота. Чтобы показать, до каких подробностей в этом отношении доходил Петр, приведем следующие статьи из двух последних пунктов: «Купить гарусу на знамены, на вымпелы, на флюгели, белого, синего, красного, аршин 1000 или 900, всякого цвета поровну, а буде недорог, и больше. Усов китовых на флюгели 15, корки на затычки пушек 100 фунтов, а буде дешева, 200 или 300; краски желтой, также и иных, числом на 15 фрегатов; пил, которыми вдоль трут, 100, а которыми поперег – 30, по образцам». Такая обстоятельность инструкции ясно показывает, к чему стремились в это время все мысли Петра, особенно если мы вспомним, что ни по одному из других предметов подобной инструкции не было

дано, между тем как по другим-то предметам они были, вероятно, гораздо нужнее для слов. Еще более выказываются настоящие побуждения путешествия в самой жизни Петра за границей и в письмах его оттуда. По расчету времени, из полуторагодового срока путешествия Петра приходится девять месяцев работ на верфях в Голландии и Англии, пять месяцев на переезды и четыре на остановки в разных городах, особенно Вене, Кенигсберге и Пилау, по случаю дел турецких и польских. Очевидно поэтому, что главную роль во всем путешествии играют работы на верфях; все остальное делается только как бы мимоходом и между прочим. Работы так занимают Петра, что он часто не находит даже времени отвечать на письма и донесения своих бояр. Утомительные физические труды требовали или продолжительного отдыха, или хорошего подкрепления. Иногда Петр позволял себе по первое, отлучаясь с работ и разъезжая водою по окрестностям, но чаще прибегал к второму средству, веселясь с своими товарищами. В октябре 1697 года он писал к Виниусу, чтоб тот не тревожился, долго не получая писем,

«потому, что иное за недосутом, а иное за отлучкою, а иное за Хмельницким не исправись» (Устрялов, том III, стр. 428). Чему же учился Петр, чем он занят был главным образом на амстердамской верфи? Он исполнял все обязанности плотника, обтесывал бревна и доски, прилаживал корабельные снасти, исполнял все приказания своего мастера. Около полугода работал Петр в Голландии и все научался только тому, «что подобало доброму плотнику знать», по его собственным словам. Уже в конце этого времени захотел он учиться у своего мастера «препорции корабельной». Но тут оказалось, что «в Голландии нет на сие мастерство совершенства геометрическим образом, но точию некоторые принципы, прочее же с долговременной практики». Петр был, разумеется, крайне недоволен, открывши это обстоятельство, которого он никак не ожидал. «Тогда зело ему стало противно, что такой дальний путь для сего восприял, а желаемого конца не достиг». Через несколько дней Петр узнал, что настоящую корабельную науку можно изучить в Англии, и вскоре отправился туда. Здесь с лишком два

месяца изучал он английскую систему постройки судов и впоследствии говорил: «Навсегда бы остался я только плотником (у Перри – Bungler, плохой работник, пачкун), если бы не поучился у англичан» (Устрялов, том III, стр. 108). Голландскими же судостроителями Петр был так недоволен, что в декабре 1697 года, еще до приезда своего в Лондон, послал в Москву приказ – всех работавших в России голландских мастеров подчинить надзору и руководству мастеров датских и венецианских. Окольничий Протасьев отвечал на это, между прочим, следующим известием, выражающим довольно ясно его наивное изумление при получении неожиданного приказа Петра: «А я заложил было в недавнем времени казенный корабль тем же голландским размером, и ныне, слыша о такой их глупости, что они, голландцы, в размере силы не знают, велел им то судно покинуть до приезда от вашей милости мастеров» (Устрялов, том III, стр. 91). Итак, если мы представим себе даже только то, что Петр работал в Голландии, воодушевляемый идеею выучиться здесь строению кораблей для создания могуще-

ственного флота, то и тогда время, проведенное им на амстердамской верфи, надобно будет считать почти потерянным. Петр сам ясно выражает, что не стоило за этим ездить в Голландию, что голландцы не умеют строить судов, что им нельзя даже поручить управление работами, не только их брать в наставники и образцы по части кораблестроения. Следовательно, в полгода своего пребывания в Голландии Петр учился только плотничьей технике корабельного дела. При мысли об этом необходимо каждому должен представиться вопрос: необходимо ли было Петру, для сооружения флота в России, самому выучиться в совершенстве обтесывать бревна, вытачивать блоки, прилаживать доски и пр.? И если этой необходимости не представлялось, то сообразно ли было с характером Петра так долго останавливаться на ненужных мелочах и частностях, когда его уже неудержимо увлекали соображения и замыслы обширные и ясно им определенные? Мы думаем, что нет. Ведь Петр не вздумал же, например, пред вторым азовским походом изучать все тонкости инженерного и артиллерийско-

го искусства, не посвятил целые годы на изучение металлургии, когда обратил внимание на горнозаводское дело, не стал учиться сам шить солдатские кафтаны и шляпы, когда заводил регулярное войско с новой обмундировкой. А уменье обтесывать бревна, конечно, нисколько не важнее для создания флота, чем уменье шить солдатские шинели – для учреждения войска с новой обмундировкой. Поэтому мы, кажется, приписали бы Петру слишком много мелочности, если бы предположили, что он мог останавливаться так долго и так внимательно над предметами столь ничтожными, имея в виду высшие интересы. Можно бы еще подумать, что Петр оставался в Голландии единственно вследствие ошибочного мнения об искусстве голландцев. Но ошибка не могла продолжаться так долго, если бы Петр искал в Голландии именно того, о чем говорят его историки. Через неделю работы он бы непременно потребовал от голландских мастеров тех сведений, которые должны были составлять главный предмет исканий Петра и в которых голландцы оказались так плохи. А между тем мы видим, что Петр четы-

ре месяца с лишком работал как плотник, во все, по-видимому, не думая спрашивать своих учителей о главных началах кораблестроения. Это обстоятельство в Петре так странно, так несообразно с его пылким, нетерпеливым характером, с его стремительной любознательностью, так противно его обычаю прямо и быстро следовать к достижению своей цели, не обращая внимания на посторонние обстоятельства, — что пребывание Петра в Голландии только и может быть объяснено отсутствием еще определенных идей и целей относительно самого флота. Петр в этом случае увлекся своей страстью к работе корабельного плотника, страстью, которая в это время была в нем еще сильнее всяких отдаленных соображений. О силе ее свидетельствует, между прочим, и то, с каким нетерпением Петр рвался к работе. Он узнал, что компания Ост-Индская решила заложить новый фрегат для упражнений царя, — в то время, как был на торжественном обеде. Узнавши это, он немедленно хотел приняться за дело; с трудом уговорили его подождать конца пиршества и фейерверка, приготовленного в

честь его. Но едва погасли последние огни, как Петр стал собираться в Сардам, где оставлены были его инструменты. Напрасно представляли ему опасность ночного плавания, он ничего не слушал и в 11 часов ночи уехал. В час пополуночи был он в Сардаме, уложил свои инструменты, рано утром воротился в Амстердам и принялся за работу. Так неудержимо сильна была в душе его страсть к кораблестроению!.. И страсть эта, несомненная и доказанная фактически, несколько не уменьшает величия дел Петровых, если мы даже признаем ее побудительного причиною некоторых из них, считавшихся прежде плодами каких-то государственных соображений. Повторим здесь, что для истории не столько важно то, что задумывал исторический деятель, как то, что он совершил. Август покровительствовал поэзии потому, что сам писал трагедии; и тем не менее его время было золотым веком римской литературы. Ричелье постоянно мечтал о литературной славе, окружал себя толпой ласкателей, даже не без участия личных литературных видов основал Французскую академию; но все-таки

правление Ришелье было временем славы для Франции, и Французская академия осталась одним из лучших памятников его правления. Фридрих Вильгельм устраивал войско по страсти к парадам и рослым солдатам, и однако же набранное им войско дало его сыну возможность основать величие Пруссии. Да и вообще, если мы допускаем во всех великих людях истории особенные, личные страсти, если мы понимаем в Августе охоту к стихотворству, в Фридрихе – к игре на флейте, в Наполеоне – к шахматам, то отчего же не допустим мы в Петре пристрастия к токарной и плотничьей работе, особенно корабельной, как отчасти удовлетворявшей собою и его страсть к морю? Кажется, в этом не будет ничего странного и неестественного, а между тем только это объяснение сделает нам вполне понятным полугодовое пребывание Петра в Голландии.

То же самое отсутствие необычайных соображений оказывается и в *incognito* Петра, которое выставлялось каким-то непостижимым чудом у прежних историков. Г-н Устрялов очень просто объясняет его желанием Петра

избавиться от церемоний и этикетов придворных, которые всегда были для него утомительны. Но притом он вовсе не хотел лишаться тех преимуществ, которые доставлял ему в путешествии высокий сан его. По крайней мере это ясно обнаруживается в нем после неприятностей, которые он потерпел в Риге. Вначале действительно Петр хотел строго хранить свое *incognito* и, чтобы в Европе не узнали его, употребил даже меру, позволенную разве только при тогдашнем состоянии понятий о правах частных лиц: он повелел распечатывать все письма, отправляемые из Москвы за границу через установленную почту, и задерживать те, в которых было хоть слово о путешествии царя! (Устрялов, том III, стр. 17). Но на самом деле русский двор требовал от шведского короля объяснений, зачем Дальберг не оказал должных почестей царю московскому, бывшему в великом посольстве. Дальберг, простодушно принявший, кажется, *incognito* царя совершенно буквально, отвечал, не без оснований с своей точки зрения, следующим оправданием: «Мы не показывали и виду, что нам известно о присут-

ствии царя, из опасения навлечь его неудовольствие; в свите никто не смел говорить о нем, под страхом смертной казни». Против этого г. Устрялов замечает: «Жалкое оправдание! Строгое incognito не мешало герцогу курляндскому, курфирсту бранденбургскому, супруге его, курфирстине ганноверской, высокопочным штатам нидерландским, королю английскому, императору римскому, самой цесаревне – оказывать Петру все внимание, какого заслуживал он и по своему сану и по личным качествам» (Устрялов, том III, стр. 29). Действительно, Дальберг оказался недогадливым; но едва ли догадливее его были и те историки, которые слишком строго, à la lettre,[10] принимали incognito Петра. Любопытно между прочим, как incognito Петра открылось в Сардаме. Здесь все обстоятельства обнаруживают, что Петр даже и не хотел оставаться для всех неизвестным, а хотел только, чтобы все показывали, что он им неизвестен. По прибытии в Сардам Петр купил однажды слив, положил их в шляпу и ел дорогой. На одной плотине пристала к нему толпа мальчишек, и Петру пришла охота по-

дразнить их; одним из них он дал слив, другим не дал и забавлялся, по словам очевидца, радостью первых и неудовольствием вторых (Устрялов, том III, стр. 66). Не получившие слив в досаде начали бросать в него грязью и даже камнями; Петр укрылся от них в одной гостинице и с гневом велел позвать бургомистра. В тот же день обнародовано было объявление, чтоб никто, под опасением жестокого наказания, не смел оскорблять знатных иностранцев, хотящих остаться неизвестными; в тот же день поставлена была стража на мосту, ведущем к тому дому, где жил царь, потому что он жаловался на толпы, стекавшиеся смотреть на него. Через несколько дней толпа окружила его на берегу; Петр рассердился и дал крепкую пощечину одному голландцу, стоявшему ближе других и глазевшему на него... Все это очень мало, конечно, могло согласоваться с *incognito* и скорее всего обнаруживало голландцам, кто такой появился между ними.

Вообще простоте жизни и бесцеремонности обращения Петра напрасно придают вид какой-то намеренности и рассчитанной под-

готовленности. Мы видели в прошедшей статье, что к этой простоте подготовило Петра его воспитание, удалившее его с малых лет от придворного этикета и развившее в нем природную живость и стремительность характера. Для русских того времени казалось, конечно, необыкновенным и чудным, что монарх их появляется между ними запросто, как обыкновенный смертный, не окруженный тем азиатским великолепием, с каким постоянно являлись его предшественники. И не только для русских, для всех тогдашних народов Европы было необычайно это явление. Они все привыкли представлять себе царя московитского в каком-то недоступном, таинственном величии, на высоте, недостижимой для подданных, и вдруг они с изумлением видят московитского царя в такой простоте, до какой не нисходил ни один даже из их европейских королей. И вот из этого-то изумления проистекло множество толков, старавшихся объяснить простоту Петра различными, более или менее великими и гениальными, побуждениями. То говорили, что он хотел этим уничтожить боярскую спесь и нанести по-

следний удар местничеству; то утверждали, что чрез это он хотел лучше вызнать все нужды своего царства; то придумывали даже, что причиною этого было глубокое смирение царя, равнявшего себя с последним из подданных и желавшего возвышаться над ними только своим трудолюбием и заслугами. Всего более странно и противно историческим фактам последнее предположение, делающее Петра из царя московского каким-то идеальным философом. Смирению сознать ничтожность всех привилегий, даваемых происхождением и случаем, понять, что всякий человек, кто бы он ни был, возвышается только трудом и личными заслугами, убедиться в этом теоретически и постоянно применять свое убеждение на практике – есть, конечно, дело великое. Но как бы ни было прекрасно подобное убеждение, оно может проявиться скорее в деятельности какого-нибудь бездомного Диогена, бесцеремонно обходящегося с Александром, нежели в жизни самодержавного правителя обширного государства. Петр никогда не был таким отчаянным теоретиком, чтобы предварительно искать принци-

пов для своих действий в отвлеченных идеях о правилах человечества и достоинстве личности. И если бы уже действительно он выработал себе то идеально-смирненное убеждение, которое ему приписывают, то у него, без всякого сомнения, достало бы характера на то, чтобы остаться ему верным до конца и провести его до самых крайних последствий, хотя бы для этого нужно было отказаться от всей своей власти и могущества. Но в том-то и дело, что действия Петра и в этом случае, как во множестве других, не были заданы отвлеченными принципами, а проистекали прямо и непосредственно из его живой натуры. Ему просто казались стеснительны, тяжелы формы азиатского великолепия, господствовавшие при дворе его предков, ему неловко было подчиняться этому обременительному этикету, и он не стал подчиняться. Для него это было так же просто, естественно и незначительно, как и необычное до тех пор знакомство с немцами, и огненные потехи, и водяные прогулки, с которых началась его страсть к морскому делу. Для него все это как будто бы так непременно и следовало по

непосредственному ходу его воспитания и развития, а вовсе не по стремлению осуществить какие-то отдаленные, исполинские замыслы и не вследствие философских убеждений в тех или других отвлеченных принципах. Вся история Петра показывает, что он вовсе не думал никогда предаваться чисто теоретическим созерцаниям и не жертвовал им ни одною минутою практически полезной деятельности, ни одним сильным стремлением своей страстной натуры. От стремлений этих он никогда не отказывался и требовал им полного простора и удовлетворения, несмотря на всю простоту и снисходительность, которые выказывал в обращении с окружающими. Он сбросил старинные, отжившие формы, какими облакалась высшая власть до него; но сущность дела осталась и при нем та же в этом отношении. В матросской куртке, с топором в руке, он так же грозно и властно держал свое царство, как и его предшественники, облеченные в порфиру и восседавшие на золотом троне, со скипетром в руках. Горе было тому дерзкому, который среди веселого пиршества осмелился бы забытья пред Пет-

ром: мгновенно пред ним являлся не веселый собеседник, а грозный монарх, имеющий над ним власть жизни и смерти. Петр позволял много своим друзьям, но тем опаснее было выходить из пределов его дозволения. В минуты гнева он не стеснялся ничем, и такова была сила страха, наводимого им, что в такие минуты, по приведенному нами выше свидетельству г. Устрялова, «даже среди самого жаркого разгула собеседники умолкали и приходили в трепет» (том II, стр. 132). Та же самая нетерпеливость и стремительность постоянно проявляется в Петре и во время его путешествия. Даже самое *incognito* в этом отношении мало озабочивало его, как видно, например, из истории с мальчишками в Сардаме и с голландцем, получившим пощечину.

Таким образом, вся доселе рассмотренная нами по изложению г. Устрялова деятельность Петра доказывает, что это была натура сильная, необыкновенная, но что, вопреки существующему мнению, не рано проявились в ней обширные государственные замыслы и планы преобразований. Да и в то время, когда уже явились эти планы, они вовсе не имели

того характера всеобщности и беспредельности, какой им приписывали некоторые историки. Не все части управления были обняты вдруг, не все преобразования задуманы разом в стройной системе, с ясным распределением, что вот нужно начать с того-то, а затем пойдет вот это и это. Повторим еще раз, что подобные распределения хороши и удобны для мыслителя, составляющего проект; но редко удается руководиться ими настоящему практическому деятелю. Тем более трудно было составлять для себя подобные системы Петру, который и по натуре своей не был расположен к этим долгим думам, да и в таком положении находился, что определение заранее программы действий могло только затруднять его.

В сущности, впрочем, простое сравнение тогдашних русских порядков с тем, что Петр имел случай увидеть за границей, могло послужить ему довольно ясным указанием, на что отныне должна быть устремлена его деятельность. Собственно теоретическая задача была здесь чрезвычайно проста. Что нужно многое переделать и многое ввести вновь, это

понимали и до Петра и в самой России. Из людей же, знавших европейский порядок дел, всякий мог указать Петру на главнейшие нужды русского царства, требовавшие немедленного удовлетворения. Особенно хитрых соображений тут не нужно было; нужна была гениальная решимость, непоколебимая твердость воли в борьбе с препятствиями, неизменное намерение – вести дело до конца. Именно этих-то свойств характера и недоставало предшественникам Петра, которые, однако, понимали необходимость многого, сделанного впоследствии Петром. Еще при Михаиле Феодоровиче поняло наше правительство, что нужно русским учиться у иностранцев ратному строю, и вызывало иностранных офицеров; при нем же артиллерийские снаряды и людей, способных распоряжаться с ними, выписывали из-за границы. Нужду во флоте чувствовал и Алексей Михайлович, построивший даже и корабль при помощи иностранных мастеров. Торговля с иностранцами велась издавна, и еще Флетчер писал, что цари русские «видят в этой торговле средство обогащения для казны» (см. Карамзина, т. X, стр.

146).{43} О торговле заграничной, и именно морской, думали у нас многие, как видно, например, из предисловия к арифметике, относимой Карамзиным к 1635 году. В предисловии исчисляются разные пользы арифметики, чтобы приманить к занятию ею; между прочим говорится: «По сей мудрости гости *по государствам торгуют*, и во всяких товарах и в торгах силу знают, и во всяких весех, и в мерах, и в земном верстании, и в *морском течении* зело искусни, и счет из всякого числа перечню знают» (см. Карамзина, прим. 437 к X тому).{44} Что для флота и для торговли нам нужно было море, это понимали даже турки, так твердо и неуступчиво в переговорах с нами отстаивавшие исключительно для себя черноморское плавание. Необходимость распространить в народе просвещение, и именно на европейский манер, чувствовали у нас начиная с Иоанна Грозного, посылавшего русских учиться за границу, и особенно со времени Бориса Годунова, снарядившего за границу целую экспедицию молодых людей для наученья, думавшего основать университет и для того вызывавшего ученых из-за границы.

В последующие царствования мы не видим продолжения его замыслов; но мысль учиться у немцев тем не менее бродила в общем сознании. Кошихин с негодованием говорит о том, что бояре русские боятся посылать детей своих «для науки в иноземные государства» (Кошихин, IV, 24). Даже в вещах, менее важных в государственном смысле, имевших более частное значение, Петр имел предшественников, робкими полумерами медленно начинавших то, что он совершил быстро и решительно. Так, например, ослабление строгого заключения женщины в терему мы видим уже при Алексее Михайловиче; вскоре потом громкое фактическое провозглашение прав ее сделано Софиею. Так точно введение немецкой одежды уже допущено было Феодором, который сам надел *польское* платье. Введение разных общественных удовольствий, взятых от немцев, началось также при Алексее Михайловиче. Но дело состояло в том, чтобы, начавши, кончить или по крайней мере продолжать быстро и решительно. На это недоставало энергии ни у кого, кроме Петра. При первой неудачной попытке предше-

ственники Петра падали духом и не смели продолжать своих усилий; иногда не решались даже и на первую попытку, утраченные представлявшимися затруднениями. Так, Алексей Михайлович перестал думать о флоте, когда сожжен был Разиным первый корабль, им построенный. Так, Годунов оставил мысль об учреждении университета с иностранными учителями только потому, что, как говорит Карамзин (том XI, стр. 53), «духовенство представило ему, что Россия благоденствует в мире единством закона и языка; что разность языков может произвести и разность в мыслях, опасную для церкви». Он же отказался и от продолжения посылки молодых людей за границу оттого, что первая посылка оказалась неудачною. Петр был не таков; его ничто не могло отклонить от того, на что он однажды решился. Крепкая воля его умела преодолевать все препятствия. В этом свойстве характера Петра всего более выражается его величие, в таком именно характере и нуждалась Россия того времени.

Отец Петра, Алексей Михайлович, отличался добротой души и любовью ко благу сво-

их подданных. Но он не имел столько энергии, чтобы совершенно избавиться от влияния дурных людей, которые окружали его и обращали во зло его благие намерения. Премник его Феодор был человек больной и слабый характером, решительно не имевший возможности предпринять упорную борьбу с старым порядком, которого он тоже не одобрял. Вследствие этого в управлении не было единства и твердости. Правительство само видело, что дела идут дурно, и не могло энергически защищать существующий порядок дел против возникавшего повсюду ропота и недовольства. Но вместе с тем оно не решалось предпринять решительной борьбы с стариной и ее приверженцами. Ограничивались только кое-какими мерами против злоупотреблений, уже слишком громко вопивших. Но этого было мало потому, что начало злоупотреблений скрывалось в самой сущности тогдашнего порядка дел, в недостатке свободного развития народных сил, в неразвитости и развращенности людей, которым вверены были начальство, суд и расправа, в общем недостатке образования по всем частям. Из-

менить такое положение дел нельзя было одним указом, запрещавшим лихоимство, или местничество, или своевольное разорение собственной страны в военное время, — под опасением жестокой казни. Нужно было нанести злу удар более смелый и решительный мерами более общими и глубокими. Но вот на это-то и не стало сил ни у кого из Петровых предшественников. Имея, конечно, в виду благо своего народа, они постоянно обнаруживали самые полезные и благородные стремления; но эти стремления, обнаруживавшие их прекрасную душу, редко приводимы были в исполнение так, как бы они желали. Сами они не могли непосредственно наблюдать за исполнением, потому что, по обычаю допетровской Руси, стояли в недоступном отдалении от народа; окружавшие же их люди пользовались своею силою и влиянием для своих корыстных целей. Эти люди многое представляли доброму Алексею не в том виде, как бы следовало, и умели отклонять его от многих прекрасных намерений, клонившихся в пользу народа. Это зловредное влияние высших бояр так было явно, что оно не

могло укрыться даже от народа. Во время бунта Разина распространен был слух, будто на Дон бежал царевич Алексей с поручением от самого царя к донским казакам, чтоб они помогли ему избавиться от коварных бояр. Слух этот многих привлекал к мятежнику, значит народ знал тягость боярского влияния. Только добрый царь, заботясь о благе подданных, не подозревал, что в своих любимцах имеет самых опасных врагов своих полезных предначертаний. Вследствие этого дела шли все хуже и хуже, глухое неудовольствие стало раздражаться открытыми восстаниями, внутренние беспорядки увеличивались с каждым годом. Непродолжительное царствование Федора ничего не могло поправить, и когда Петр принял правление в свои руки, положение России представлялось в следующем виде.

Извне Россия была унижена: она потерпела много неудач в делах с поляками, платила херадж, по-нашему *поминки*, крымскому хану, потеряла земли при Финском заливе, упустила из рук своих целую половину Малороссии, добровольно подчинившейся. Крымские

походы князя Голицына, возвеличенные Софиею, еще более обеславили русское оружие и заставили смеяться над нами поляков, турок и немцев. Если разобрать причины этого, то оказывается, конечно, что виною всего были неустройства внутренние. Военное искусство стояло на самой низкой степени. Были призываемы иноземцы, чтобы учить русские полки иноземному строю; но это делалось как-то случайно и небрежно. Очень часто оказывалось, что приезжие иноземцы или сами ничего не смыслили, или не хотели ничего делать и даже во время похода сказывались «в нетех». Войска потеряли всякий воинский дух, не будучи одушевляемы никаким сильным чувством, не имея никаких ясных понятий даже о своих обязанностях. Это доказали крымские походы Голицына и даже позже азовские походы самого Петра. Артиллерийского и инженерного дела не знал никто до такой степени, что и Тиммерман, проводивший мины во вред нашим же войскам, считался знатоком. Флота, военного или торгового, не было вовсе; не было даже порядочных судов и кормщиков, которые бы умели пере-

возить по рекам. Торговля заграничная была вся в руках иностранцев, и русские купцы терпели только невыгоды от их монополий. Государственные доходы были невелики; вследствие множества неурядиц и беспорядков, бывших при Алексее Михайловиче и при Софии, везде накопились недоимки; права владения перепутаны и сделались спорными. Указы 1683 года о возобновлении крепостных актов, истребленных в майский мятеж в Холопьем приказе; о возвращении владельцам холопей, насильно вынудивших у них отпускные во время мятежа; о сыске беглых крестьян; о возобновлении писцовых книг и пр. – все эти указы мало, как кажется, принесли пользы. Беспорядки продолжались, ничего нельзя было разобрать, казна истощалась; уже во время путешествия Петра за границей, по замечанию историка, «финансы наши были так скудны, что едва могли удовлетворять самым необходимым потребностям» (Устрялов, том III, стр. 86). Вся администрация отличалась невежеством и развращенностью. Не только ничего не делали для успокоения умов, но еще, как бы нарочно, изыскивали

средства дразнить их. Известно, что произошло при Алексее Михайловиче от самовластия и лихоимства чиновников, поставленных под покровительство Морозова и Милославского; известно также, какие следствия имел выпуск медной монеты и корыстный оборот, сделанный при этом богатыми боярами. В прошедшей статье мы видели, какими несправедливостями и насилиями стрелецких начальников подготовлен был первый стрелецкий бунт. Столь же замечательна ревность бояр к раздражению умов в раскольниках, принесшая столь горькие плоды впоследствии. Мы не касались этого предмета в наших статьях, стараясь следить только за теми событиями из времен отрочества Петра, которые имели заметное влияние на его развитие. Но при общем взгляде на состояние России того времени необходимо обратить внимание и на тогдашнее положение раскольников, ярко обрисовывающее степень образованности и гуманности тогдашней администрации. Удерживаясь от всяких собственных суждений на этот счет, мы позволяем себе только выписать одну страницу из первого тома «Ис-

Принятые царевною меры к искоренению главного зла, раскола, только содействовали к его усилению. После мятеза Никиты Пустосвята поведено было: раскольников отыскивать во всем государстве и, по мере вины, одних предавать суду духовному, других суду градскому, как преступников государственных. Года через два после того состоялись и указные статьи о расправе с ними: упорствующих в заблуждении предписано пытать жестокими муками, чтобы выведать их учителей, и, если не отстанут от раскола, жечь в срубах, а пепел развеять; жечь в срубах велено и тех, которые перекрещивают младенцев или людей взрослых, именуя первое крещение неправым; наказание кнутом и ссылкой угрожало всякому, кто укрывал раскольников или, зная об них, не доносил. Таким образом воздвигнуто было гонение повсеместное; оно принесло горькие плоды; изуверы ожесточились более прежнего; многочисленными вооруженными толпами нападали на монастыри, целые месяцы отбивались от царских

войск; наконец, доведенные до крайности, гибли в пламени зажженных ими церквей... Грустно читать подобные события, и тем виновнее кажутся тогдашние законодатели, что, без всякого милосердия преследуя несчастные заблуждения ума и совести, сами они платили дань нелепым предрассудкам: главный из них, первый советник и наперсник царевны, князь Голицын, верил в волшебство и чародейство...

Вместе с невежеством и жестокостью господствовали повсюду казнокрадство и подкупность, ставившие ни во что всякую веру и заклинательство, по выражению Кошихина. В военном управлении – начальники удерживали у подчиненных жалованье, употребляли их на свои работы, заставляли делать на свой счет вещи, которые положено было давать из казны, и пр. В гражданских судах можно было всего достичь подкупом, и трудно было отыскать честного человека. Так, например, Протасьев, которого Петр сделал было главным распорядителем сооружения флота, оказался страшным взяточником (Устрялов, том II, стр. 307). Лучший из послов-дипломатов в первое

время правления Петра, Емельян Украинцев, также был известный взяточник. Улики в лихоимстве даже ближних людей Петра бывали и впоследствии и постоянно приводили его в страшный гнев. Но общая зараза была такова, что даже Петр не мог искоренить ее. Она обнаруживалась не только во внутренних делах, но и во внешних отношениях с иными государствами. Подкуп заменял и воинскую храбрость и дипломатические способности. Вспомним, что русские под Азовом пытались склонить пашу к сдаче города *выгодными предложениями*; при Пруте, уже гораздо позже, употреблено было то же средство. Польский посланник Нефимонов, бывший там при избрании короля в 1696 году, доносил Петру, что нужно послать в Польшу, по примеру цесаря, «полномочного посла с довольным количеством денег на презенты; поляки же пуще денег любят московские соболи» (Устрялов, том III, стр. 17). Вся вообще жизнь была в тогдашней Руси более удовлетворением животной, грубо-чувственной стороне человека, нежели высшим его интересам. Низшие классы народа находились в бедности,

исходом из которой было пьянство и разбой. Высшее сословие погружено было в грубую спесь и роскошь, состоявшую в бездействии, жирном и хмельном столе да в размахистом разгуле, нередко доходившем также до степени разбоя. Записки Желябужского представляют немало примеров, что князья и бояре бывали захватываемы на разбое. Какова была степень умственного и нравственного развития высших сословий, это мы видели уже в прошедшей статье. В чем проходила их домашняя жизнь, можно видеть из Кошихина. Не лишнюю интереса черту представляет в книге г. Устрялова исчисление питий и яств, отпускавшихся царевне Софии, когда она была в *заточении* в Новодевичьем монастыре (том III, стр. 155). «Ей, с несколькими ее прислужницами, выдавалось *ежедневно*: по ведру меда приказного и пива мартовского, по 2 ведра браги (а для праздников рождества Христова и светлого воскресенья – по ведру водки коричневой и по 5 кружек водки анисовой), по 4 стерляди паровых, по 6 стерлядей ушных, по 2 щуки-колодки, по лещу, по 3 язя, по 30 окуней и карасей, по 2 звена белой ры-

бицы, по 2 наряда икры зернистой, по 2 наряда сельдей, по 4 блюда просольной стерлядины, по звену белужины, с соразмерным количеством хлеба белого, зеленого, красносельского, папошников, саек, калачей, пышек, пирогов, левашников, караваев, орехового масла и пряных зелий, в том числе в год: полпуда сахару кенарского, пуд среднего, по 4 фунта леденца белого и красного, по 4 фунта леденцов раженных, по 3 фунта конфет и т. п.». На что было определять для царевны такую пропасть съестных вещей, и особенно пива и браги, это уж объясняется только особенностями тогдашней жизни. Зато хлебосольством и славились московские бояре, и спесивы были невероятно своим богатством и породою, хотя самые породистые из них часто, по словам Кошихина, сидели в царском совете, «брады свои уставя и ничего не отвечаая, понеже царь жаловал многих бояр не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые и нестудерованные» (Кошихин, гл. II, стр. 5).

Этаких-то *нестудерованных* людей приходилось Петру поставить лицом к лицу перед Ев-

ропою, для которой так просто и естественно, уже и в это время, казалось многое, чего никак не могли сообразить русские царедворцы. Познакомясь с чужеземцами и научившись от них, Петр далеко ушел от своих бояр, проникнутых своекорыстием, спесью и рутинною. За границей смотрели на Россию как на великую *возможность* чего-то, хотя и понимали, что в настоящем она еще ничего не значила пред Европою. Это убеждение легко сообщилось и Петру; ему предстояло теперь подвинуть возможность к действительности. Извне это казалось чрезвычайно легким. Вот каким языком говорил с Петром польский уполномоченный Карлович в 1699 году, вызывая его на войну с Швециею (Устрялов, том III, стр. 333):

От его царского величества зависит (писал он в мемориале, представленном Петру) извлечь необъятные выгоды, достигнуть всемирной славы, завести цветущую торговлю с Голландиею, Англиею, Испаниею, Португалиею, со всеми северными, западными и южными странами Европы, а что всего важнее и чего ни один государь не в со-

стоянии был сделать, открыть через Россию торговый путь между Востоком и Западом, с исключительным правом на все выгоды. Этим средством его царское величество войдет в ближайшии связи с первыми монархами христианскими, приобретет значение и вес в общих делах Европы, учредит грозный флот и, поставив Россию на степень третьей морской державы, принудит французского короля отказаться от мечты о французской монархии, чем скорее, нежели покорением турок и татар, прославится во всем свете. Если же, по открытии войны за испанское наследство или по другому поводу, пошлет на помощь Англии и Голландии 10, 20 тысяч войска с значительным флотом, союзники станут смотреть на его царское величество с особенным почтением; а москвитяне между тем на чужой счет выучатся военному искусству и потом, не нуждаясь более в иностранных офицерах, с наилучшим успехом поведут войну с турками и татарами. Прочие выгоды лучше всего взвесит высокий ум его царского величества.

Подобные мысли во времена Петра могли быть новы для русских царедворцев, но в Европе такой взгляд на Россию существовал издавна, разумеется, за исключением нескольких громких гипербол, которые позволил себе Карлович сообразно своей цели. Петр во время путешествия своего по Европе не мог не увидеть, какое значение придается среди Европы русскому царству его географическим положением и огромным единоплеменным населением. Понятие это не чуждо было и предшественникам Петра, как видно из некоторых дипломатических актов; но у правителей, бывших до Петра, недоставало решимости пользоваться, как было должно, своим положением. Они как будто сознавались постоянно, что у них сила есть, да воли нет. Напротив того, Петр, с детских лет принужденный видеть расстройство и беспорядки в своем царстве, чувствовал более других, что сила-то, находящаяся в его руках, не столько велика, как кажется; но зато у него была твердая воля употребить в дело по крайней мере ту силу, какая есть. Он и употребил ее в дело, несмотря на все препятствия, противопостав-

ленные ему невежеством и ленью. Не надеясь на действительность убеждений, Петр часто действовал силою, увлекаемый своей страстной, нетерпеливой натурой. Он сам за все брался, за всем смотрел и все толкал вперед, потому что он не мог вытерпеть, пока его помощники собираются с своим «московским тотчасом». Часто даже ему вовсе не за кого было взяться; случалось, что люди, на которых он всего более надеялся, только портили дело, им порученное. Петр не унывал духом, но гнев его раздражался на плохих исполнителях. Здесь, кстати, можем мы привести случай, характеризующий исполнителей Петровых намерений и вместе с тем показывающий, как далеко отстояла наша политическая мудрость того времени от дипломатических видов европейских, образец которых мы видели в мемориале Карловича. Случай этот был во время второго азовского похода, следовательно, всего за три года до посольства Карловича. В этом походе, как известно, Петр долго ждал прибытия цесарских инженеров, опоздавших несколькими месяцами. На вопрос о причине замедления инженеры отве-

чали, что в Вене никак не ожидали такого раннего похода русских войск и что русский посланник при цесарском дворе, Кузьма Нефимонов, ничего им не говорил и сам ничего не знал о ходе военных действий. Оказалось, что Украинцев, управлявший тогда Посольским приказом, не сообщал Нефимонову никаких известий из армии, *опасаясь, чтобы тот не разгласил их!*.. Петр был крайне раздразован таким странным рассуждением и тотчас написал следующее оригинальное письмо к Виниусу, шурина Украинцева: «Зело досадил мне свояк твой, что Кузьму (Нефимонова) держит без ведомости о войне нашей. И не стыд ли? о чем ни спросят, ничего не знает!.. А с таким великим делом послан (для заключения союзного трактата)!.. В цыдулках Миките Моисеевичу о польских делах пишет (Украинцев), которые не нужны, что надобет делать; а цесарскую сторону, где надежда союза, позабыл. А пишет так: «Для того о войсках не даем ведать, чтоб Кузьма лишнего не рассеял». Рассудил! Есть ли сенс его в здорвьи? В государственном поверено, а что все ведают, – закрыто! Только скажи ему, что че-

го он не допишет на бумаге, то я допишу ему на спине» (Устрялов, том II, стр. 430). Таковы были лучшие представители древней Руси, предназначенные к исполнению планов Петра, в виду Европы, в это время, по политическим обстоятельствам, обратившей на Россию более зоркое внимание, чем когда-нибудь. Хорош этот дальновидный и осторожный начальник нашего Посольского приказа, когда поставить его соображения рядом, например, с смелыми и обширными предначертаниями Паткуля,{45} часть которых заключается в мемориале Карловича!.. Что было Петру делать с такими людьми, кроме того, чем заключил он письмо свое? Никакая доброта сердца, никакая благонамеренность, никакая прозорливость теоретическая не помогли бы Петру, если бы у него не было этого могучего характера, высказывавшегося часто неровно, порывисто, бурно, но всегда подвигавшего дело вперед решительным, смелым толчком. Рано высказался в Петре этот характер, сложившийся в бурях первых лет его жизни, рано заметили все, что Петр не будет делать дело вполнину, если примется за

дело, и Петр скоро сделался представителем и двигателем новых стремлений, издавна бродивших в народе и не находивших себе удовлетворения. Все, что было недовольно старым порядком, с надеждою обратило взоры свои на Петра и радостно пошло за ним, увидавши, что на знамени его написана та же ненависть к закоренелому злу, та же борьба с отжившей стариной, та же любовь к свету образования, которая смутно таилась и в народном сознании. С другой стороны, представители старого порядка вещей, при всей своей грубости и невежестве, тоже догадались, что Петр не слишком-то будет их жаловать, и присмирели, видя по характеру Петра, что он шутить не любит. И вот Петр является в нашей истории как олицетворение народных потребностей и стремлений, как личность, сосредоточившая в себе те желания и те силы, которые по частям рассеяны были в массе народной. Вот тайна постоянного успеха, сопровождавшего его предприятия, несмотря на все препятствия, поставляемые невежеством и своекорыстием старинной партии, — и вот вместе с тем разгадка того, почему Петр

мало тогда обратил внимания на главные условия народного благоденствия – на распространение просвещения между всеми классами народа и на средства свободного, беспрепятственного развития всех производительных сил страны. Понятно, что Петр если и хотел этим заняться, то не мог преимущественно на этом настаивать: прошедшее народа не подготовило еще тогда достаточно данных для того, чтобы стремление к истинному, серьезному образованию и к улучшению экономических отношений могло сильно и деятельно проявиться в массе. Нужно еще было прежде раскрыть хорошенько глаза тогдашней массе, посмотреть на других, убедиться, что есть на свете просвещение и правильно определенные бытовые отношения, отличные от наших, а потом уже принимать их усваивать, по мере умения и силы. Поэтому-то вся деятельность Петра и клонилась именно к возможности сближения России с Европой. Петр, может быть, делал многое, сам вовсе не имея в виду этой цели; но такой результат выходил уже сам собою, по естественному порядку вещей. Петр был сильным

двигателем; направление же движения было не от него... оно задавалось, как всегда и везде, ходом истории.

Но величие Петра как могучего двигателя событий в данном направлении поистине изумительно. С первого дня своего царствования он становится один главою движения и сокрушает все на пути своем. Министры и любимцы сестры его справедливо пришли не по душе ему: он всех их в один день отрешил и посадил на их места своих друзей и приверженцев. Но эти новые сановники были большею частью также приверженцами старины, придерживались боярской спеси, местнических счетов, азиатских церемоний, грубых предрассудков. Даже после преобразований Петровых, незадолго до Ништадского мира, иные из них вздыхали еще по московской старине (Устрялов, том II, стр. 101). Они во многом не могли понимать Петра, уже учившегося у Тиммермана и Бранта, и на многое не могли ему дать ответа. Скучая их неподвижностью и крайней ограниченностью, Петр сошелся с земляками Тиммермана и Бранта, и вскоре Лефорт и Гордон делаются

его лучшими друзьями, общество Немецкой слободы – любимым обществом. В рассказах иноземцев, в науке военной и морской открывается для Петра новый мир, и он пять лет все осматривается в этом мире, как бы пробуя силы и забывая все остальное для любимых занятий, которые пока занимают его лично. Но вот он серьезно хочет попробовать, каковы бывают эти забавы не в шуточном, а в настоящем деле, и идет под Азов. Это предприятие почти не имеет еще государственного характера, но оно пробудило гений Петра к государственной деятельности. Он увидел, что суда плохи, войска плохи, распоряжения плохи; увидел, что и его приятели-иноземцы тоже крайне плохи. Тут бы, казалось, торжество противной партии; ее нарекания и зловещие предсказания оправдывались. Одни говорили царю, что бог его наказывает за любовь к еретикам, другие уверяли, что *по старине* действительно лучше было, чем по этим иноземным хитростям; третьи толковали, что иноземцы все – негодяи и изменники и потому их всех надо казнить или прогнать. На все это были доказательства и улики явные: и су-

да, ими выстроенные, шли плохо, и войска, ими обученные, не выдерживали битвы, и мины, ими заложенные, взрывались на нашу гибель; были, наконец, и действительные изменники из иноземцев, перебежавшие от нас к туркам. Явно, что от иноземцев все зло или по крайней мере добра-то уж нет никакого... Но Петр ничего знать не хочет, он рассуждает иначе. Вся беда в том, говорит он, что иноземцев мало и что они плохи; надобно вызвать побольше да получше. И вслед за тем он посылает грамоты в разные государства, чтобы ему прислали искусных людей... Им поручает он инженерные работы, отдает в их ведение артиллерию, задает им строить флот. Необходимость флота указана была также азовским походом; Петр, и без того преданный страсти к мореплаванию, с жаром принимается за постройку флота. Но на флот нужны деньги, а финансы истощены; флот надобно построить уж порядочно, а приезжие мастера еще бог весть каковы; для флота нужно море, а у нас его нет. Как тут быть? Всякого взяло бы раздумье, всякий бы, кажется, отступился от своей мысли, увидевши препятствия

непреодолимые. Но Петра трудно было утратить большими затруднениями; а на такие пустяки он не хотел и внимания обращать. Финансы истощены? А *кумпанства* на что же? В ноябре 1696 года Петр приказал, чтобы владельцы и вотчинники, духовные с 8000 крестьянских дворов, а светские – с 10 000, выстроили по кораблю к апрелю 1698 года, а люди торговые, все вместе, к тому же сроку, чтобы изготовили 12 бомбардирских судов. Вот и дело с концом. А кто не захочет строить или окажется неисправным, у того деревни отбирать, того лишать животов и дворов. И поспели корабли через 16 месяцев... Да еще больше поспело, чем нужно было сначала. Через год Петр нашел, что мало выйдет, если выстроится по кораблю с каждого *кумпанства*; вышел указ, чтобы выстроили еще по кораблю с каждой двух *кумпанств*. И выстроили... Иноземные мастера сомнительны? Петр рассылает грамоты по всем государствам, чтобы ему прислали *лучших, искусных* мастеров; и, чтобы иметь и собственное понятие об их работе, посылает русских за границу учиться морскому делу, да и сам едет вслед за ними же. Моря

нет? Петр посылает в Константинополь Украинцева – добиваться плавания на Черном море. А не удалось это, так мы потянулись в другую сторону – за Балтийским.

Так точно Петр поступил и с выбором своих сотрудников. В почетных стариках, выбранных прежде, оказалось мало энергии и мало сочувствия с Петром. Петр принялся искать других во всех слоях общества, и в свите посольства, отправившегося с ним за границу, мы находим уже имена Петра Шафирова и Александра Меншикова (Устрялов, том III, стр. 572). Скажут: «Значит, были же при Петре люди, которые были способны деятельно и умно помогать ему». Да когда же не бывает таких людей? Вспомним справедливое замечание Карамзина: «Полководцы, министры, законодатели не рождаются в такое или такое царствование, но единственно избираются. Чтобы избрать, надобно угадать, угадывают же людей только великие люди, – и слуги Петровы удивительным образом помогали ему на ратном поле, в сенате, в кабинете» (Карамзин. «О древней и новой России», стр. XLV, Эйнерлинг).{46} Прибавим к этому, что ино-

гда самое избрание бывает не столько затруднительно, сколько его осуществление, и в этом отношении едва ли чье положение бывало затруднительнее Петрова. Чтобы поставить избранных им людей на ту степень, которой они были достойны, ему нужно было разрушить тысячи препятствий. Прежде всего – это были люди незнатные, люди безвестного происхождения, значит возвышение их оскорбляло родовую боярскую спесь, и в служебных отношениях с ними легко могли откликнуться местнические счеты. Кроме того, это были всё люди молодые. Возвышая их и поручая им важные дела, Петр решительно шел наперекор стародавнему обычаю, по которому старость считалась достаточным ручательством за ум и знания человека, а молодость осуждалась на то, чтобы быть *во посылочках* у стариков. К этому еще нужно прибавить, что новые избранники Петра были всею душою за новизну против старины и тем более должны были раздражать против себя сановитых и породистых бояр, с презрением смотревших на все, что не было украшено сединами и вековою знатностью рода. Тем

ужаснее было негодование их, когда между избранниками царя являлись иноземцы. Тут уже и суеверие с патриотизмом являлось им на помощь; тут они самый народ думали видеть на своей стороне. Но Петр не испугался их дряхлого негодования и смело продолжал идти по своему пути, «не обращая внимания, – как говорит г. Устрялов, – на заметную досаду почтенных сединами и преданностью бояр, на строгие нравоучения всеми чтимого патриарха, на суеверный ужас народа, не слушая ни нежных пеней матери, ни упреков жены, еще любимой» (том II, стр. 119). И не только их слов и ропота не послушал Петр, он не смутился даже от проявления неудовольствия, восставшего вооруженной силой. За две недели пред отправлением Петра в путешествие открылся заговор Соковнина и Цыклера. Петр казнил их и главных их сообщников над гробом Ивана Михайловича Милославского, вырытого из земли; поставил на Красной площади каменный столб с железными спицами, на которых воткнуты были головы казненных, тогда как вокруг разложены были трупы их в продолжение несколь-

ких месяцев; разослал в заточение по дальним городам родственников их, и через две недели все-таки отправился за границу. Во время его отсутствия произошло новое восстание, более возбужденное, кажется, неблагоразумием, а может быть, даже и действительными притеснениями начальников, нежели какими-нибудь определенными замыслами в пользу старины. В марте 1698 года явилось в Москве 175 стрельцов, бежавших из полков, бывших на литовской границе. Они жаловались на бескормицу и притеснения; бояре велели им возвратиться в полки до 3 апреля. Но в этот день оказалось пред боярами уже 400 человек, требовавших льгот и послаблений и отказывавшихся идти в полки. Их выпроводили насильно. Узнав об этом, Петр выговаривал Ромодановскому, зачем он «сего дела в розыск не вступил». Действительно, отпущенные, или, лучше сказать, *посланные* в полки свои, беглые стрельцы возмутили остальных, и в июне открылся уже настоящий бунт: стрельцы шли к Москве. Они ни в чем не успели; их скоро смирили, 130 человек повесили, 140 били кнутом и сослали, до 2000

разослали по разным городам в тюрьмы (Устрялов, том III, стр. 178). Но Петр был этим недоволен. Ему нужно было до конца истребить все, что могло еще быть опасным противодействием его стремлениям. Он вспомнил ужасы первых лет своей жизни, вспомнил, что стрельцы были приверженцами и орудиями сестры его, и он решился, тотчас по возвращении из-за границы, с корнем вырвать это зло, не дававшее ему покоя. На стрельцах, которых считал он в этом случае представителями противной партии и сообщниками которых считал всех своих недоброхотов, начиная с сестер и жены, на них решился он показать страшный, жестокий пример того, как он карает своих противников. «Я допрошу их постороже вашего», – сказал он Гордону, и действительно в сентябре и октябре 1698 года произведен был беспощадный розыск, подробности которого, сообщенные г. Устряловым (том III, стр. 201–245), должны привести в ужас читателей нашего времени. Тысячи стрельцов и людей, оговоренных ими, ежедневно по нескольку часов пытаны были в нескольких застенках о причинах и целях

бунта. Все сначала с изумительным героизмом запирались и при очных ставках, и при *подъеме, встряске*, и под всеми пытками, даже *под огнем*. Многие умирали под пыткой, ничего не сказав, кроме одного: что шли к Москве с голоду и от притеснений начальства, да еще по слуху, что государь за границей помер. Но от Петра не легко было отделаться. Он не жалел пыток, не отступал ни перед какими средствами, призывал к допросу даже сестер своих. Сам написал он допросные пункты, в которых именно спрашивал: не призывала ли стрельцов к Москве София, не было ли от нее письма, не хотели ли посадить ее на царство? После такого прямого поставления вопроса запирающихся было уже меньше; многие сознавались, но как-то глухо и неопределительно, как будто сами не понимая хорошенько, в чем они сознаются. Один рассказывал, наконец, целую историю получения письма от Софии (не подтвержденную, впрочем, дальнейшим розыском), и дальнейший розыск был обращен особенно на это обстоятельство. Признание в государственных замыслах и в возмущении по наущениям Со-

фии было наконец высказано значительною частью стрельцов.[11] Начались казни. Число казненных простиралось, по некоторым известиям, до 4000. По словам г. Устрялова, «Красная площадь была покрыта обезглавленными телами; стены Белого и Земляного города унизаны были повешенными» (том III, стр. 237). Через несколько времени свезли из Москвы и сложили у разных дорог 1068 трупов. Кроме того, множество народа было сослано. Не довольствуясь этим и желая совершенно уничтожить непокорных, Петр решился, по собственному его выражению, *скассовать* все стрелецкое войско. В 1699 году стрельцы обращены были в посадские; их запрещено было принимать в военную службу и велено ссылать на каторгу тех, кто из них запишется в солдаты, утаив, что был прежде стрельцом.

Так действовал Петр против тех, которые осмеливались восставать против его предприятий или обнаруживали сочувствие к его противникам. Не мог бы, конечно, такой образ действий увенчаться успехом, если бы Петр во всей своей деятельности не был пред-

ставителем начала нового движения, которое поборало уже отживавшую старину. Вспомним, какое гибельное ожесточение, какие несчастные последствия возбуждали обыкновенно даже гораздо меньшие строгости его предшественников. Но Петр, предаваясь влечению своего непреклонного, неумолимого характера, чувствовал свою силу. Оттого он прямо и смело объявлял свои требования, грозно и без всяких обиняков назначал заранее наказание непослушным. После возвращения из-за границы, имея в виду более широкие и определенные замыслы, чем прежде, он стал действовать тем с большею решительностью, что составил уже в это время в уме своем известные идеалы некоторых предметов по виденным им за границую образцам. Так, тотчас по возвращении, вместе с опытным и искусным моряком Крейсом, он нашел, что суда, выстроенные кумпанствами, были неудовлетворительны. У одних нужно было усилить вооружение и оснастку, другие исправить в самом корпусе, а иные и совершенно переделать, потому что одни оказались слишком валкими, а другие и вовсе

неспособными к ходу (Устрялов, том III, стр. 249). Немедленно приказано было тем же *кумпанствам* позаботиться об исправлении всего, что нужно, под наблюдением английских мастеров. Теперь флот был нужен Петру *настоятельно*, потому что наша дипломатия оказалась весьма плохую на переговорах при цесарском дворе и русским предстояла война с турками, с которыми все остальные союзники наши помирились отдельно, оставив нас ни при чем. Петр не боялся войны, он даже хотел ее, и, без сомнения, не оказал бы большой уступчивости перед турками, если бы замыслы Паткуля против Швеции не вызвали Северной войны, отклонившей внимание Петра на север.

Работая над устройством флота, теперь уже не как плотник, а как адмирал и распорядитель, Петр стал теперь гораздо больше внимания обращать и на другие части государственного устройства. Так, он, по предложению Курбатова, взявшего свою мысль с иностранных примеров, учредил *гербовую* бумагу, в видах увеличения государственных доходов и вместе уменьшения ябеды. В финансовых

видах также преобразован в 1699 году порядок в сборе окладных податей, таможенных и питейных сборов, причем устроена особенная *Бурмистерская палата* и окладные подати возвышены вдвое. Несмотря на это возвышение подати, новый порядок был всеми принят с радостью, потому что, как свидетельствует об этом указ самого Петра (30 января 1699 года), промышленное сословие до тех пор было «безответною жертвою наглого самоуправства и бессовестного лихоимства, так что от приказных волокит, от воеводских налогов и взяток люди торговые пришли в крайнее разорение, многие торгов и промыслов отбыли, податей платить были не в силах, и государственная казна терпела ущерб немалый, вследствие недоимки окладных доходов и недобора торговых пошлин». «Между тем пример Голландии, – прибавляет г. Устрялов, говоря об этом указе (том III, стр. 260), – удостоверял царя, что в благосостоянии промышленного сословия заключался один из главных источников государственного богатства и что промыслы могут процветать только при свободном, самостоятельном развитии

их, без вмешательства сторонних властей, тягостного во всякое время, тем более при тогдашнем порядке дел в России». Весьма вероятно, что пример Голландии был одним из побуждений при устройстве Бурмистерской палаты, хотя и нельзя сказать, чтобы Петр в это время уже вполне ясно сознал, какое значение имеет вмешательство посторонних властей для процветания промышленности и, следовательно, для благосостояния государства как везде, так особенно у нас в России. По крайней мере на преобразование этих *властей* Петр не обратил еще теперь своего внимания.

Влияние путешествия за границей раньше всего проявилось у Петра желанием преобразовать формы некоторых общественных отношений. Петр видел, что в иных государствах жизнь идет иначе, чем у нас, и ему, конечно, понравилась простота и бесцеремонность отношений между мужчинами и женщинами на Западе, радушные семейные беседы, веселые общественные развлечения, при постоянном участии женщины. Петр захотел ввести то же самое и в России и для того, что-

бы приблизить русских к европейцам и по внешнему виду, прежде всего позаботился об изменении их наружности. Ему казалось это ничтожным делом после всего, в чем уже проявилась его сила. Он даже начал дело с простой шутки, думая, что люди, не подорожившие своими средствами для постройки флота, видевшие превосходство иностранцев в разных знаниях и искусствах, отрекшиеся, по воле царя, от своей величавой, неподвижной спеси, прогулявшиеся за границу или слышавшие подробные рассказы очевидцев о чужих землях, — что люди эти не постоят уже за кафтан и бороду. Но оказалось, что сопротивление в этом случае было более упорно, чем в других случаях: отживавшая старина, теряя свои привилегии, хотела по крайней мере удержать внешние значки и за них вступилась больше, нежели за самую сущность дела. Кесарь Ромодановский, услышав, что боярин Головин явился при Венском дворе без бороды, воскликнул: «Не хочу верить, чтобы Головин дошел до такого безумия». Патриарх писал, что «над брадобрийцами не подобает быти ни христианскому погребению, ни в

церковных молитвах поминовению» (Устрялов, том III, стр. 194). Мало того, по свидетельству историка (том III, стр. 196), «неразумные попы тайными внушениями поддерживали суеверный ужас черни и даже осмеливались в своих приходах дерзко осуждать государя. Так, в городе Романове поп Викула, на святой неделе обходя с образами Троицкую слободу, в доме солдата Кокорева не допустил его к св. кресту, называл врагом и басурманом за то, что он был с выстриженной бородою. Когда же Кокорев в оправдание свое сказал: «Ныне в Москве бояре и князи бороду бреют по воле царя», – Викула изрыгнул хулу и на государя». Вообще ни одно из прежних требований Петра не возбудило столько ропота и явного недовольствия, как повеление – брить бороду. Но Петр уже раз решил, что – бороду долой, и сбить его с этого пункта было невозможно. Он хотел, чтобы русские и по наружности не были противны немцам, а «чем упорнее берегли русские свою бороду, тем ненавистнее, – по словам историка, – была она Петру, как символ закоснелых предрассудков, как вывеска спесивого невежества,

как вечная преграда к дружелюбному сближению с иноземцами, к заимствованию от них всего полезного». Решение свое насчет бороды Петр, по обычаю своему, привел в исполнение немедленно. Это происходило на первый раз довольно комическим образом, – доказательство, что Петр сначала все дело думал покончить очень легко. На другой день по приезде его в Москву из-за границы явились к нему знатнейшие бояре для поздравления. Петр очень ласково принял их, целовал, обнимал, разговаривал с ними и тут же, к неопisanному изумлению предстоявших, то тому, то другому обрезывал бороды. Прежде всех подверглись этой горестной операции – сам кесарь Ромодановский и генералиссимус – Шеин, за ними и остальные, кроме Стрешнева и Черкасского, пощаженных царем. Дней через пять та же история повторилась на пиру у Шеина; тут уже бороды резал царский шут. Через три дня потом на пир к Лефорту бояре явились уже безбородые. «Пылкий царь, – говорит г. Устрялов, – не хотел видеть бородачей вокруг себя, ни при дворе, ни в войске, ни на верфях. Бояре, царедворцы,

люди ратные, корабельные плотники должны были уступить непреклонной воле царя». Вскоре установлена была бородовая пошлина, распространенная и на людей посадских и даже на крестьян. И на этот раз, вопреки ожиданиям и желаниям приверженцев старины, все обошлось спокойно и благополучно: восстаний нигде не было. Народу грустно было расставаться с стародавним обычаем; но сожаление о нем не могло иметь серьезного характера, потому что в самом обычае не заключалось никакой разумной, жизненной потребности.

То же было и с старинной русской одеждой, на которую Петр в это же время воздвиг гонение. Пребывание за границей и тут не осталось без влияния на Петра, заставив его окончательно разлюбить русскую одежду, которой он, по замечанию г. Устрялова, «и прежде не жаловал, наиболее потому, что длиннополые ферязи, опашни, охабни, с двухаршинными рукавами, мешали ему лазать на мачты, рубить топором, маршировать с солдатами, одним словом – нисколько не согласовались с его живою, быстрою, неутомимою

деятельностью (том III, стр. 199). Но главное побуждение было и здесь – желание сблизить русских с иностранцами. Петр был убежден, что старинный костюм будет помехою для этого сближения, и решился распорядиться с ферязями и кафтанами так же, как с бородою. «Сначала он на веселых пирах отрезывал длинные рукава у царедворцев и не хотел видеть у себя терлишников так же, как и бородачей. Вскоре потом построил он немецкую обмундировку для вновь заведенного регулярного войска; а затем издал строгий указ, чтобы к празднику богоявления, и уже не позже, как к масленице 1700 года, все бояре, царедворцы, люди служилые, приказные и торговые нарядились в венгерское и немецкое платье. То же было указано и боярыням, имевшим приезд ко двору. Вскоре это распоряжение распространено и на купчих, стрельчих, солдаток, попадей и дьякониц» (Устрялов, том III, стр. 350).

В то же время Петр изменил прежнюю монетную систему нашу, отличавшуюся большими неудобствами. Мысль об этом тоже явилась у Петра за границей, и именно в Лон-

доне, где он неоднократно посещал монетный двор. До Петра монета у нас была чрезвычайно безобразна и неправильна, так что весьма легко было подделывать и обрезать ее, отчего фальшивые монетчики и процветали в древней Руси, несмотря на строжайшие законы, обращенные против них. Петр этому горю помог другим средством: он стал чеканить монету лучше, и подделок стало меньше. Другое горе состояло в том, что единственной ходячей монетой в это время были серебряные копейки. От этого, с одной стороны, вследствие решительного отсутствия золотой и крупной серебряной монеты, правительство встречало немаловажные затруднения в своих финансовых оборотах, особенно заграничных; с другой стороны, от недостатка мелкой разменной монеты много терпел бедный класс народа (Устрялов, том III, стр. 353). Петр решился пустить в ход медную монету, копейки, денежки и полушки, несмотря на то, что подобная попытка при Алексее Михайловиче имела очень печальные последствия. Вслед за тем начали чеканить и червонцы, серебряные полтинники, полуполтин-

ники и, наконец, рублевики. Все они тотчас вошли в общее употребление по цене, назначенной правительством.

Не столь быстры и решительны были действия Петра по двум другим важнейшим отраслям государственного устройства, по изданию кодекса законов и принятию мер к образованию народному. Мысль об этих предметах была у Петра, как видно из того, что в феврале 1700 года он повелел учредить в Москве комиссию для составления нового Уложения и что, в беседе с Адрианом, изъявлял намерение преобразовать Славяно-греко-латинскую академию в роде университета. Но очевидно, что Петр не был слишком занят этим и скоро отклонил свою мысль от комиссии и академии к своим любимым занятиям. Комиссия в четырнадцать лет успела рассмотреть только три первые главы Уложения, а мысль об учреждении школ и академии ограничилась на деле основанием навигационной школы. Вскоре внимание царя было надолго отвлечено от внутренних дел войною с Карлом; но, конечно, не этому случайному обстоятельству нужно приписать невнимательность

Петра к комиссии законов и к учреждению школ. Мы видели его характер, его энергию в исполнении самых трудных предприятий. Он мог уже и в это время повелеть и сам приняться за дело, мог призвать из-за границы учителей, как призвал корабельных мастеров, мог выстроить училища, гимназии, университеты, как выстроил флот, завести музеи, библиотеки, как завел регулярное войско... Но есть пределы человеческому могуществу. Петр мог привести в движение те силы своего народа, которые готовы были двинуться; но он не мог вызвать ранее срока тех сил, которые еще были так слабы, что неспособны были к движению. Как человек, осуществивший в своей воле потребности и стремления народа, Петр инстинктивно имел тот *такт*, который отличает подобных ему исторических деятелей от непризванных фанатиков, часто принимающих мечты своего расстроенного воображения за истинные потребности века и народа, принимающихся за бесплодное дело не по своим силам. Петр чувствовал, что сил его станет на многое, но он знал и меру своим силам. Он пришел к жатве, подготов-

ленной веками, и понял, что он может пожать эти зерна, оставленные без внимания его предшественниками. Но вместе с тем он знал, что сила *производящая* здесь все-таки эта почва, на которой ему предстояла жатва. Он мог более или менее быстро и удачно пожать и собрать все, что произросло на ней; но по своему произволу заставить расти зерна он не мог. Нужно было их сначала посеять, и он сеял то, что мог. Но что мог он посеять в то время на поле гражданского законодательства и народного просвещения в России? По необходимости посев был скуден, и вот почему Петр выказывал так мало энергии в своих предприятиях по этой части. Народ был мало готов на это, а Петр был представителем своего народа; мог ли же он глубоко проникнуться тем, что еще не было глубокой и настоящей потребностью для самого народного сознания?

Война шведская отвлекла Петра от мыслей законодательства и просвещения, указав ему поприще, более близкое к его постоянным занятиям и стремлениям. Проявления его мысли и характера в этой войне мы постараемся

проследить, когда явится продолжение труда г. Устрялова, ожидаемое нами с нетерпением.

Разрывом с Швециею оканчивается третий том «Истории Петра» г. Устрялова. На этом покончим и мы свои заметки, имевшие целью ознакомить наших читателей с характером фактов, собранных в книге г. Устрялова. Удаляясь общих выводов и подробных рассуждений о значении Петра в нашей истории, мы старались только группировать однородные факты, разрозненные в летописном порядке изложения г. Устрялова. Эта летописность изложения составляет особенность г. Устрялова, бросающуюся в глаза каждому читателю «Истории Петра». Она могла бы быть названа большим достоинством, если бы была совершенно выдержана, то есть если бы автор отказался уже решительно от всяких рассуждений и взглядов, рассказывая одни только факты. Но в изложении г. Устрялова заметно отчасти стремление выразить известный взгляд; у него нередко попадаются красноречивые громкие фразы, украшающие простую истину событий; заметен даже в некоторых местах *выбор* фактов, так что иногда рассказ

его вовсе не сообщает того впечатления, – какое сообщается приложенным в конце книги документом, на который тут же и ссылается сам историк. (Пусть, например, внимательный читатель сравнит хоть в третьем томе стр. 187 с приложением X, стр. 621.)^{47} Поэтому летописность, имея искусственный характер и не будучи выдержана скорее вредит достоинству книги г. Устрялова, нежели возвышает его. Кажется, лучше было бы, если бы историк позаботился о том, чтобы сгруппировать факты истории Петра, осветивши их общей идеей, не приданной им извне и насильственно, а прямо и строго выведенной из них самих. Тогда общее впечатление было бы живее и полнее, факты не терялись бы для читателя в разрозненности, как бы случайности. Г-н Устрялов мог озарить истинным и ярким светом все события, относящиеся к царствованию Петра. Кроме огромной массы материалов, кроме него никому не бывших доступными, он и при самой разработке их находился в более благоприятном положении, нежели кто-нибудь другой, и, следовательно, мог сказать нам более всякого другого. К сожалению

нию, он не захотел вполне воспользоваться своим положением и ограничился карамзинским трудом собрания материалов, связного, стройного их расположения и красноречивого изложения. Придавши своему труду характер преимущественно биографический, он не обратил внимания на общие задачи истории страны и времени, в которых действовал Петр, и таким образом, отняв у себя оружие высшей исторической критики, не вышел из колеи прежних панегиристов, которых сам осуждает во введении к «Истории Петра».

Все это такие недостатки, которые не могут быть названы ничтожными; но нужно заметить, что находить *эти* недостатки можно только в труде серьезном, капитальном, каков и есть труд г. Устрялова. Мы говорим: «Отчего г. Устрялов не сделал большего?» – именно потому, что мы видим, как много он сделал. Степенью значения труда его определяется количество и великость требований, которых выполнения мы от него ожидаем. Будь это произведение не замечательное, обыденное, никто бы и не подумал упрекать его за отсутствие того, чего так естественно всякий

ищет у г. Устрялова и часто не находит. Во всяком случае, как сборник драгоценных материалов, до сих пор бывших неизвестными публике, как плод труда многолетнего и добросовестного, как стройная и живая картина событий Петрова царствования, книга г. Устрялова останется надолго одним из лучших украшений нашей исторической литературы. Повторим еще раз в заключение, что для истории Петра труд г. Устрялова будет иметь значение истории Карамзина. Значение это не пропадет и тогда, когда наступит время для прагматической истории новой России под правлением Петра. Будущий историк если не воспользуется идеями и взглядами г. Устрялова, то, во всяком случае, найдет в его книге много драгоценных материалов и подлинных документов.

Приложения, по своей обширности почти равняющиеся тексту истории, придают и всегда будут придавать ему важное и постоянное значение. Многие из них действительно бросают новый свет на события; другие дают возможность точных и твердых соображений относительно таких вещей, о которых доселе су-

дили только по предположениям. Все это придает труду г. Устрялова чрезвычайную важность, и мы надеемся, что читатели не будут на нас досадовать за то, что мы так долго занимали их обзорением этого замечательного труда, появления которого так давно ожидала русская публика.

Примечания

Условные сокращения

Аничков – Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений под ред. Е. В. Аничкова, тт. I–IX, СПб., изд-во «Деятель», 1911–1912.

Белинский – В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. I–XIII, М., изд-во Академии наук СССР, 1953–1959.

Герцен — А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах тт. I–XXV, М., изд-во Академии наук СССР, 1954–1961 (издание продолжается).

ГИХЛ – Н. А. Добролюбов Полное собрание сочинений в шести томах. Под ред. П. И. Лебедева-Полянского, М., ГИХЛ. 1934–1941.

Гоголь – Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I–XIV, М., изд-во Академии наук СССР, 1937–1952.

ГПБ – Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

Изд. 1862 г. – Н. А. Добролюбов. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), тт. I–IV, СПб., 1862.

ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

Лемке – Н. А. Добролюбов. Первое полное собрание сочинений под ред. М. К. Лемке, тт. I–IV, СПб., изд-во А. С. Панафидиной, 1911 (на обл. – 1912).

ЛН – «Литературное наследство».

Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 годах (Н. Г. Чернышевским), т. I, М., 1890.

Писарев – Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах, тт. 1–4, М., Гослитиздат, 1955–1956.

«*Совр.*» – «Современник».

Указатель – В. Боград. Журнал «Современник» 1847–1866. Указатель содержания. М. – Л., Гослитиздат, 1959,

ЦГИАЛ — Центральный гос. исторический архив (Ленинград).

Чернышевский – Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, тт. I–XVI, М., ГИХЛ, 1939–1953.

Впервые – «Совр.», 1858, № 6, отд. II, стр. 137–186 («Статья первая»); № 7, стр. 1–40 («Статья вторая») и № 8, стр. 149–208 («Статья тре-

тъя и последняя»), в конце последней статьи подпись: «-бовъ. Вошло в изд. 1862 г., т. II, стр. 65–193. Сохранился цензурный экземпляр журнального набора третьей статьи (ИРЛИ).

Сопоставление текста изд. 1862 г. с «Современником» показывает, что в журнальной публикации первой статьи Добролюбову пришлось пойти на ряд изменений (смягчение формулировок, исключение отдельных мест и т. п.), вызванных цензурными требованиями. Так, например, исключены фразы о школьном освещении деятельности Петра I и об историках, которые пишут о «важных лицах» «еще при их жизни»; вычеркнуты также формулировки, содержащие резкие характеристики законов допетровского времени; не вошли в журнальный текст те места, где говорится о несходстве государственных интересов «с интересами народных масс», о недовольстве этих масс своим положением (такова фраза об ожидании «беспорядочного взрыва» при Алексее Михайловиче, о «бунте Разина» и др.); наконец, сняты намеки на обскурантизм и невежество духовенства (все эти разночтения оговорены ниже в прим.).

Статья вторая и третья таких существенных разночтений не имеют, лишь в последней, как это видно из цензурного экземпляра корректуры, зачеркнуты цензором отдельные слова («смешной» – по поводу «забот» Петра «о благе его подданных», «жалким» – о триумфе Петра). Добролюбов, видимо, был уже более осторожен в формулировках. Возможно также, что сказалось и некоторое смягчение требований цензуры к «Современнику»; в июле 1858 года (когда печаталась третья статья) произошла замена цензора журнала (вместо П. М. Новосильского был назначен Д. И. Мацкевич). Н. М. Михайловский с удовлетворением писал Добролюбову 27 июля 1858 года: «Теперь пока все идет без задержек при новом цензоре и в новой типографии» (ИРЛИ).

Н. Г. Устрялов (1805–1870) – профессор истории в Петербургском университете (его лекции в 1847–1850 годах слушал студент Чернышевский), читал курс русской истории и в Главном педагогическом институте. В «Дневнике» Добролюбова содержится ряд записей о лекциях Устрялова, его учебнике «Русская ис-

тория» (ч. I–V, СПб., 1837–1841; в 1855 году вышло 5-е издание), экзаменах по этому предмету и т. д. Вначале у Добролюбова был некоторый наивный пиетет перед известным историком («Как величав Устрялов!» – восклицает он в письме к Благообразовым от 1 февраля 1854 года), но в дальнейшем верноподданническая ориентация Устрялова, выступавшего с панегириками Николаю I, а также историческая концепция этого представителя официального направления в русской историографии вызывают у Добролюбова осуждение. Вместе с тем Добролюбов, как и Чернышевский, отдавал должное эрудиции историка, его стремлению опереться на широкий круг документальных источников и т. д. Это нашло отражение и в статье критика о наиболее значительном историческом труде Устрялова.

Первые три тома «Истории царствования Петра Великого» (т. IV вышел в 1859 году, т. VI – в 1864, т. V не появился) вызвали ряд критических откликов, однако историческая концепция Устрялова сколько-нибудь широкого освещения в либеральной и в официальной ре-

акционной прессе не получила. Так, в рецензиях А. Зернина («Библиотека для чтения», 1858, т. 152), П. Вейнберга («Сын отечества», 1858, №№ 21–26) подвергается разбору лишь фактическая сторона труда историка, отмечаются его частные ошибки фактического или библиографического характера. Одна из рецензий (без подписи) так и называлась: «Несколько библиографических заметок по поводу сочинений г. академика Устрялова “История царствования Петра Великого”» («Отечественные записки», 1858, № 6, стр. 530–552). На существенные пробелы фактического характера указал и известный историк С. М. Соловьев (статья в «Атенее», 1858, №№ 27 и 28). Хотя Соловьев остановился на одном из общих вопросов – на недооценке Устряловым поступательного развития России в допетровский период, однако, находясь на позициях государственного направления русской исторической мысли, он не смог вскрыть коренных недостатков «Истории...» Устрялова.

В статье Добролюбова дано принципиально иное, многостороннее и глубокое истолкование исторических проблем, затронутых в

труде Устрялова. Добролюбов противопоставлял официальной исторической науке (М. П. Погодин, Н. Г. Устрялов и др.), либерально-буржуазным (Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин и др.) и славянофильским (К. С. Аксаков, А. С. Хомяков и др.) воззрениям революционно-демократические взгляды на историю. В своем понимании исторического процесса Добролюбов опирался прежде всего на достижения русской революционной исторической мысли, особенно на суждения Белинского, Герцена, Чернышевского. Добролюбову было хорошо знакомо также и то лучшее, что было достигнуто буржуазной западноевропейской наукой в области истории. К работам таких историков, как Огюстьен Тьерри, Франсуа Гизо, Фридрих Шлоссер и др., критик не раз обращался на страницах своих статей и рецензий. Так, в статье «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» он цитирует «Историю цивилизации во Франции» Гизо для доказательства несостоятельности славянофильских рассуждений Жеребцова. В то же время Добролюбову была ясна либерально-буржуазная ограниченность западноевро-

пейской исторической науки. В статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» (см. т. 2 наст. изд.) Добролюбов обращал внимание на то, что в Европе по сути не было «историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для массы, для людей вообще, а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полководцев и т. и.». В своих выступлениях на исторические темы Добролюбов развивает революционно-демократические, «с точки зрения народных интересов», взгляды на русскую историю. Особенно важными являются суждения Добролюбова об определяющей роли народных масс, о необходимости глубокого изучения их положения, их интересов. Развитием данных положений является и его взгляд на роль личности в истории. Уже в статье «О степени участия народности в русской литературе», касаясь преобразований Петра I, критик писал, что «и здесь от естественного хода дел зависело более, чем от личной воли преобразовате-

ля». Вместе с тем роль выдающегося деятеля, указывает Добролюбов, весьма значительна, и она тем плодотворнее, чем смелее и решительнее берется деятель за осуществление назревших исторических задач.

Суждения Добролюбова о Петре I и его реформах также полемически направлены против точек зрения, развивавшихся в официальной, славянофильской и либерально-буржуазной исторической науке. Добролюбов доказывал, что петровские преобразования были подготовлены всем ходом предшествующего развития России, что сами эти преобразования были исторической необходимостью, продиктованы интересами народа и государства и поэтому исторически прогрессивны. В этой своей части высказывания Добролюбова особенно резко заострены против реакционных славянофильских теорий. Следует отметить, что Чернышевский и Добролюбов в своих суждениях о Петре I и его времени развивали во многом взгляды, высказанные Белинским («Россия до Петра Великого», «Петербург и Москва», «Взгляд на русскую литературу 1846 года» и др.) и Герценом («О развитии ре-

волюционных идей в России», «Княгиня Е. Р. Дашкова» и др.). Вместе с тем они преодолели те преувеличенные оценки деятельности Петра I, которые содержались в статьях Белинского начала 40-х годов, Герцена и Огарева 40–50-х годов. Однако ни Чернышевскому, ни Добролюбову, вследствие ограниченности их материализма, также не удалось до конца вскрыть социальную обусловленность деятельности Петра I. (Подробнее о взглядах революционных демократов на историю и на деятельность Петра I см. в «Очерках истории исторической науки в СССР», т. I, изд. АН СССР, М., 1955, стр. 266–314; т. II, М., 1960, стр. 7–65.)

Обращение революционных демократов к эпохе Петра I и петровским преобразованиям диктовалось не только необходимостью сформулировать свои взгляды на исторический процесс. Вопросы истории здесь тесно переплетались с современностью – с подготовкой крестьянской реформы и других преобразований России, с положением народных масс, с оценкой современных общественных группировок и т. д. Герцен, подчеркивая эту связь, в

1857 году писал: «Едва Николай умер, Россия рвется снова на петровскую дорогу... в развитии внутренних материальных и нравственных сил» (Герцен, XII, 366–367). К тому же 1857 году относится статья Огарева «Что бы сделал Петр Великий?» (см.: Н. П. Огарев: Избранные социально-политические и философские произведения, т. II, Госполитиздат, М., 1956, стр. 24–30).

Сноски

1

До какой степени небрежно поступали прежде при печатании исторических сочинений и документов, можно судить по следующим примерам, найденным нами в книге г. Устрялова. В «Северном архиве» напечатан отрывок из современного русского перевода сочинения Галларта: «Historische Beschreibung des nordischen Krieges» («Историческое описание Северной войны»; нем. – *Ред.*), – и все собственные имена до того изуродованы, что иные трудно узнать. Одна фраза, вместо «послал князь Григорья Федоровича Долгорукого, своего камергера», напечатана: «князь Григорья Федоровича за другаго своего камергера». В заграничных изданиях русские собственные имена коверкались еще больше. Так, в сочинении Невиля «Relation curieuse et nouvelle de Moscovie. A la Haye 1699» («Новое любопытное повествование о Московии. Гаага, 1699»; франц. – *Ред.*), – русские имена пи-

шутся, например, таким образом: Kenas Iacob Seudrevick – князь Яков Федорович; Levanti Romanorrick ne Pleuvan – Леонтий Романович Неплюев; Alexis Samuelerrich – Алексей Михайлович! Забавна ошибка, к которой подало повод такое искажение имен. У Невиля есть фраза: «*Quelque temps après le czar Alexis Samuel Errich se voyant moribond, le* (то есть Менезия) *déclara gouverneur du jeune prince Pierre* (через несколько времени царь Алексей Михайлович, чувствуя приближение смерти, назначил его (Менезия) воспитателем юного царевича Петра)». Из этого наши историки вывели, что у Петра был воспитателем какой-то Самуил Эрик!

[^^^]

2

Например, автор статьи «Правление царевны Софии», помещенной в «Русском вестнике» 1856 года и обратившей на себя внимание многих, ссылается на сказания Крекшина как на свидетельства вполне надежные и неоспоримые.{48}

[^^^]

3

Достоинства труда г. Устрялова так велики и несомненны, что нам не хотелось бы встречать рядом с ними даже малейших недостатков изложения. Вот почему нас поражают особенно неприятно некоторые фразы, по местам допущенные г. Устряловым, для украшения простых фактов. Так, например, г. Устрялов рассказывает, что, слушая рассказ об астроябии, «державный отрок *трепещет*; изумленный и обрадованный, он хочет видеть дивную вещь» и пр. (том II, стр. 20). Такая манера рассказа неприятно напоминает ламар-

тиновский способ сочинения истории. В этом случае Карамзин был осторожнее: при всей своей склонности к поэтизированию истории он никогда не увлекался до изображения тайных дум и ощущений исторических лиц. Он довольствовал свое красноречие тем, что говорил: «К сожалению, летописцы не могли проникнуть во внутренность души Иоанна» или «Один бог знает, что происходило в это время в мрачной душе Годунова» и т. п. Нельзя не сознаться, что этот исторический прием имеет свои достоинства.

[^^^]

Г-н Устрялов не принимает свидетельств ни Таннера, ни Залусского на том основании, что Матвеев оставался в прежних должностях около полугода по воцарении Феодора и что в замысле о возведении Петра на престол его не обвиняли и он не оправдывался. Но полугодовая отсрочка ссылки Матвеева ничего не доказывает: слабый Феодор, огорченный потерю отца, мог в первое время не позаботиться о немедленном возмездии своему недоброхоту. Что же касается до молчания обвинительных актов, то весьма естественно, кажется, что Феодор и его советники не хотели объявлять по судам и приказам семейной распри царя с мачехою и братом. Де же и когда бывал обычай обнародывать придворные комнатные интриги. Довольно и того, что Матвеев был сослан и что ни мачеху, ни ее родственников Феодор, по словам самого же г. Устрялова, во все время своего правления *не жаловал*.

Из детства Петра г. Устрялов приводит два случая, как совершенно достоверные, в доказательство пылкости и стремительности его натуры, выразившихся уже и в детской его резвости и живости. Первый случай рассказывает Лизен, бывший секретарем цесарского посольства в Москве в последний жизни Алексея Михайловича. Когда послы представлялись царю, царица, мать Петра, по обыкновению не могшая присутствовать при аудиенции, смотрела на прием послов из-за двери соседнего покоя. Петр, еще трехлетний мальчик, был тут же, при матери; вероятно, ему наскучило смотреть из-за двери и показалось странным, что ему нельзя войти туда, где другие: он распахнул двери настежь и этим, замечает Лизен, дал возможность послам увидеть московскую государыню (Устрялов, том I, стр. 10). Другой случай записан Кемпфером в своих записках. Это было в 1683 году, тоже при представлении послов; Петру было тогда уже одиннадцать лет. Он сидел на троне, вместе с братом – Иоанном. «Старший брат, на-

двинув шапку на глаза, с потупленным взором, никого не видя, сидел почти неподвижно; младший смотрел на всех с открытым, прелестным лицом, на котором, при обращении к нему речи, беспрестанно играла кровь юношества. Дивная красота его, говорит Кемпфер, пленяла всех предстоявших, а живость его приводила в замешательство степенных сановников московских. Когда посланник подал верящую грамоту и оба царя должны были встать в одно время, чтобы спросить о королевском здоровье, младший не дал времени дядькам приподнять себя и брата, как требовалось этикетом, быстро встал с своего места, сам приподнял царскую шапку и бегло заговорил обычный привет: «Его королевское величество, брат наш, Королус Свейский, по здорову ль?» Петру было тогда с небольшим одиннадцать лет; но Кемпферу{49} он показался не менее шестнадцати лет» (Устрялов, том II, стр. 1–2).

[^^^]

6

Кошихин прибавляет, между прочим: «да и для того, что иных государств языка и политики не знают».

[^^^]

7

Петр, очевидно, говорит здесь об одном себе, потому что Иоанн родился в 1666 году, следовательно, ему было уже 16 лет при смерти Федора, а теперь было уже 23 года.

[^^^]

Матвеев говорит, правда, что это началось еще раньше; но ему можно и не верить. Ведь сказал же он, что жалобы стрельцов на своих полковников были ложные: «Под некоторыми *ложными своими вымыслами, якобы (!)* за учиненные им стрельцам от командиров их тягости и обиды и нападки, стали уже самих полковников всемерно уничижать и ругать» (Туманский, VI, 14).

[^^^]

Матвеев (сын) в описании мятежа говорит также, что прибытия Артамона Сергеевича только и ждали стрельцы, руководимые Софией, для начатия бунта: именем Матвеева начинался кровавый список людей, обреченных на смерть Софиею. Трудно с этим показанием согласить то, что Матвееву, тотчас по прибытии его, все стрельцы поднесли хлеб-соль; кроме того, мудрено себе представить, чтобы стрельцы, имевшие Матвеева в заголовке кровавого списка, позволили ему уговаривать себя в самую решительную минуту. Неужели и смелых злодеев не было между людьми, выбранными Софиею? Или они скрывались назад, а впереди стояли люди, чуть не допустившие Матвеева разослать их мирно по домам? Надо заметить, что Матвеев сходил к ним с Красного крыльца за решетку, очень долго говорил с ними и *«стыдил их в нелепом заблуждении»* (Устрялов, том I, стр. 32).

В буквальном смысле (франц.). – *Ред.*

[^^^]

Боясь излишних распространений, мы не решаемся здесь касаться подробностей розыска. Но весьма любопытно было бы сделать этот розыск предметом юридического исследования с целью разрешить вопрос: должен ли историк придать более веры первоначальному записательству стрельцов или последним их показаниям, вынужденным жестокою пыткой. С одной стороны, если записательство и молчание стрельцов были умышленны, а не происходили вследствие того, что они действительно ничего не знали и ничего не могли говорить, – в таком случае каждый из них превосходит в героизме Муция Сцеволу и Регула. С другой же стороны – известно, что признания, сделанные под пыткой, нельзя считать слишком надежными. Рассмотревши

все розыскное дело, сохранившееся в целости, в настоящее время можно, вероятно, сделать заключение более беспристрастное и спокойное, нежели какое было возможно во время самого розыска.

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Цитата из статьи Белинского «Россия до Петра Великого» (Белинский, V, стр. 105).

[^^^]

2

Речь идет об индийском национальном восстании 1857–1859 годов, направленном против английского колониального господства (см. в т. 2 наст. изд. статью Добролюбова «Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии» и прим. к ней).

[^^^]

3

Аболиционисты – сторонники движения за освобождение негров, возникшего в конце XVIII века в США, Франции и Англии; особенно широкое распространение аболиционизм получил в США, сыграв важную роль в подготовке Гражданской войны (1861–1865) за отмену рабства.

[^^^]

4

Намек на магистерскую диссертацию В. В. Григорьева «О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству» (М., 1842). О реакционной позиции Григорьева в 1850-е годы см. в наст. томе прим. 14 к статье «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым».

[^^^]

5

Добролюбов имеет в виду статью И. Назарова «Сказания о Мамаевом побоище» («Журнал министерства народного просвещения», 1858, ч. ХСІХ, стр. 33–107).

[^^^]

6

Говоря о «ловкости рассказа», Добролюбов, несомненно, намекает на книгу Устрялова «Историческое обозрение царствования государя императора Николая I» (СПб., 1847), просмотренную и одобренную самим Николаем.

[^^^]

Имеются в виду следующие издания: И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. 12 частей. М., 1788–1789; «Дополнения к «Деяниям...» 18 частей. М., 1790–1797 (второе издание в 15 томах, объединившее все части, вышло в 1837–1843 годах); историком Г. Ф. Миллером подготовлены: «Письма Петра Велико-го... графу Борису Петровичу Шереметеву» (М., 1774) и «Письма к государю императору Петру Великому от... графа Бориса Петровича Шереметева» (чч. I–IV, М., 1778–1779); В. Н. Берхом подготовлено «Собрание писем императора Петра I к разным лицам с ответами на оные» (чч. I–IV, СПб., 1829–1830).

[^^^]

Феофану Прокоповичу принадлежит «История императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии», впервые издана М. М. Щербатовым (СПб., 1773). *Барон Гизен*, состоявший при Петре I на русской дипломатической службе, составил «Журнал государя Петра I с 1695 по 1709 г.», опубликован Ф. Туманским в 1787 году в «Собрании разных записок и сочинений...» (части III и VIII).

[^^^]

9

Сочинение П. Н. Крекшина «Краткое описание блаженных дел великого государя императора Петра Великого» полностью не издано; первая его часть опубликована И. Сахаровым в «Записках русских людей. События времен Петра Великого» (СПб., 1841).

[^^^]

10

Имеется в виду труд В. Н. Татищева «История Российская с самых древнейших времен» (книги I–IV, М., 1768–1784; кн. V, М., 1848).

[^^^]

Здесь Добролюбов дважды указывает на «труды» самого Устрялова; приведенная фраза является дословной цитатой из его учебного курса «Русская история» (ч. III, СПб., 1838, стр. 31), далее же – намек на его книгу о Николае I (см. прим. 6). Как очевидно, цензура это разгадала, и в «Современнике» вместо текста от слов – «Давно ли мы» до слов «и упоминать нечего» было: «Очень может быть, что результат их исследований в самом деле будет справедлив; но самый прием все-таки неверен в отношении к науке, потому что историк должен иметь в виду только одно отыскание истины».

[^^^]

Добролюбов перечисляет следующие исторические работы: И. П. Елагин. Опыт повествования о России (М., 1803); Ф. А. Эмин. Российская история (тт. I–III, СПб., 1767–1769); И. Ф. Богданович. Историческое изображение России (СПб., 1777); Вольтер. История Российской империи в царствование Петра Великого (2 тома, 1759–1763; русский перевод: чч. 1–2, М., 1809); Ph. P. Ségur. Histoire de Russie et de Pierre le Grand, Paris, 1829 (Ф. П. Сегюр. История России и Петра Великого, Париж, 1829); Н. А. Полевой. Европа, Россия и Петр Великий (1841), Завоевание Азова в 1696 году (1841), История Петра Великого (1843), Обзорение русской истории до единогодержавия Петра Великого (1846) и др.; М. М. Щербатов. История российская от древнейших времен (7 томов, 1770–1791).

[^^^]

Устрялов приводит мнение Карамзина, высказанное в его «Записке о древней и новой России» (см. прим. 35).

[^^^]

От слов «если бы интересы государства и народа» (строка 14 св.) до слов «из указаний на факты народной жизни» в «Современнике» иная редакция: «... и должно быть по теории; но на деле не всегда так бывает. Не так было и в жизни древней Руси. Развитие государственных начал не всегда сопровождалось действительным развитием благоденствия в народной жизни, и этим объясняется кажущаяся несообразность светлой и темной стороны древней России в изложении г. Устрялова».

[^^^]

15

Выражение «чтобы государственные элементы сделались в ней народными» в «Современнике» дано в иной редакции: «чтобы государственные ее начала вошли в дух народа, укреплялись в народной жизни и нравственности».

[^^^]

16

Этой и параллельной ей цитаты в «Современнике» нет.

[^^^]

17

Слова «что и в самой системе недостает каких-то оснований» в «Современнике» отсутствуют.

[^^^]

18

Слова «выигрывал народ русский» в «Современнике» заменены: «выигрывали русские».

[^^^]

19

Фраза «Равным образом... знатных дворян» в «Современнике» исключена.

[^^^]

20

Фраза «Все было... царствование Алексея Михайловича» в «Современнике» дана в иной редакции: «Все было напряжено в высшей степени, все заставляло покидать прежнюю систему, выйти из старой колеи и броситься на новую дорогу. При тогдашних обстоятельствах внешних, при тогдашнем положении дел внутренних это было единственным спасением. Все царствование Алексея Михайловича служило доказательством этой истины».

[^^^]

21

Первая часть фразы в «Современнике» в иной редакции: «На Алексее Михайловиче лежала трудная обязанность – предупредить те бедствия, к которым могло повлечь...»

[^^^]

22

Имеется в виду книга германо-австрийского посла в России (1661–1663) барона А. Мейерберга (у Добролюбова – Мейербера) «Путешествие в Московию». Добролюбов цитирует по изданию Ф. Аделунга «Мейерберг и путешествие его по России», СПб., 1827.

[^^^]

23

Добролюбов цитирует записки Самюэля Коллинса (врача Алексея Михайловича в 1659–1667 гг.) по переводу П. Киреевского: «Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне». Сочинение Самуила Коллинса, М., 1846.

[^^^]

24

От слов «так говорил и народ» до ссылки на «Акты Археографической экспедиции» в «Современнике»: «подобные слухи ходили в народе...». Ссылка дана на издание: «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею...», т. I–IV, СПб., 1836.

[^^^]

25

Выражений «государство в государстве» и «служба предметом ненависти для духовенства» в «Современнике» нет.

[^^^]

26

В «Современнике» фраза дана в иной редакции: «Вторжению в Русь иноземных обычаев и сближению с иностранцами противодействовало также и духовенство XVII века».

[^^^]

27

В «Современнике» эта фраза отсутствует, предыдущая фраза в иной редакции: «Считая вредным начальство иноземцев в русских войсках, духовенство еще решительнее сопротивлялось вторжению иноземных обычаев в русскую жизнь».

[^^^]

28

Имеется в виду книга Гр. Котошихина (у Добролюбова и в издании – Кошихин) «О России в царствование Алексея Михайловича», СПб., 1840 (издание второе – СПб., 1852).

[^^^]

Добролюбов цитирует издание: «Полное собрание законов Российской империи», тт. I–XLV, СПб., 1830. В дальнейшем в тексте оно дается сокращенно: Полн. собр. зак. – с указанием номера законоположения.

[^^^]

Данная фраза в «Современнике» после слов «Жестокою казнью» в иной редакции: «а в это время наказания вообще не отличались особенной мягкостью». В сноске дана ссылка на издание: «Акты исторические», тт. I–V, СПб., 1841–1842. Ниже, в последней фразе абзаца исключены слова «и пороньем ноздрей».

[^^^]

31

Вместо слов «на долю народа... личностей» в «Современнике»: «на долю целой массы личностей, составляющих народ».

[^^^]

32

Данная фраза и конец предыдущей в «Современнике» в иной редакции: «перенимал все, что попало, и дурное, и хорошее».

[^^^]

Речь идет о «Записке за 1732–1763 гг.» Я. Штелина; на русском языке отрывки впервые публиковались в «Москвитянине», 1842, ч. I; 1851, ч. II; полностью текст «Записки» дан в книге: П. А. Ефремов. Материалы для истории русской литературы, СПб., 1867.

[^^^]

Цитата из «Записки о древней и новой России» Карамзина. Добролюбов пользовался ее рукописным списком, так как «Записка» в 1858 году полностью еще не была напечатана, а в опубликованных отрывках («Совр.», 1837, т. V, и в приложении к пятому изданию «Истории государства Российского» – в кн. III, СПб., 1843) приведенной цитаты не содержится. (См.: Н. М. Карамзин. Записка о древней и новой России, СПб., 1914, стр. 28.)

[^^^]

35

Перри Джон – английский корабельный инженер, находился на русской службе в 1689–1715 годах.

[^^^]

36

Книга чешского путешественника Бернгарда Таннера «Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 году» была издана на латинском языке в 1689 году; переводы отрывков «Описания» на русский язык печатались в разных журналах, полный перевод вышел в 1891 году.

[^^^]

37

Залусский Андрей Хризостом (1650–1711) – польский церковный и государственный деятель.

[^^^]

38

Полное название труда В. Н. Берха – «Царствование царя Феодора Алексеевича и история первого стрелецкого бунта» (2 части, СПб., 1834–1835).

[^^^]

Имеются в виду «Записки (1682–1709 гг.)» И. А. Желябужского в издании И. Сахарова «Записки русских людей...», СПб., 1841.

[^^^]

Далее в «Современнике» следует: «и сохранился даже один указ о том, чтобы бить кнутом приказчика Невьянской слободы за то, что он не дал царским сокольничьим подвод, и они должны были нанять те подводы и заплатить 40 алтын (Акты исторические, т. IV, № 64)». Данный эпизод был исключен в «Современнике» из статьи первой; после его восстановления в изд. 1862 г. надобность повторять тот же текст во второй статье отпала (см. стр. 35 и прим. 31).

[^^^]

Имеются в виду «Записки» А. А. Матвеева, изданы И. Сахаровым в книге «Записки русских людей», СПб., 1841, и ранее – Ф. В. Туманским в «Собрании разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого», ч. VI, СПб., 1787; здесь же напечатаны и записки Сильвестра Медведева: «Созерцание краткое лет 7190, 191, 192, в них же что содеяся во гражданстве».

[^^^]

Более точное название сочинения П. П. Шафиров: «Рассуждение, какие законные причины имел его царское величество Петр Первый... к начатию войны против короля Карла XII» (СПб., 1717).

[^^^]

Имеются в виду записки английского посла в России Джильса Флетчера «О государстве Русском, или Образ правления русского царя, с описанием нравов и обычаев жителей этой страны» (Лондон, 1591). Ссылка на Карамзина дается по изданию: Н. М. Карамзин. История государства Российского. Издание пятое И. Эйнерлинга, кн. III, т. X, СПб., 1843.

[^^^]

44

Цитируемое сочинение: «Книга рекома по-гречески Арифметика, а по-немецки Алгоризма, а по-русски Цифирная счетная мудрость».

[^^^]

45

Паткуль Иоганн Рейнгольдт (1660–1707) – лифляндский дворянин, политический деятель, находившийся сначала на службе в Швеции, затем бежал в Россию, участвовал в борьбе против Карла XII.

[^^^]

«Записка о древней и новой России» Карамзина цитируется по отрывку, напечатанному в качестве приложения к т. XII «Истории государства Российского» (в указанном издании И. Эйнерлинга, кн. III, стр. XXXIX–XLVII).

[^^^]

На указанной странице основного текста рассказывается о том, что Петр I и польский король Август II после встреч в Раве (1698) «растались самыми искренними друзьями, даже обменялись своими кафтанами и шпагами». Приведенное же в приложении дипломатическое донесение австрийскому цесарю Леопольду I дает иное освещение тех же событий.

[^^^]

48

Речь идет о статье П. К. Щебальского («Русский вестник», 1856, март, кн. 1 и 2; апрель, кн. 1, и май, кн. 1).

[^^^]

49

Кемпфер Энгельберт (1651–1716) – немецкий путешественник.

[^^^]

[^^^]